Девственный, энергичный, прекрасный,
Сумеет ли он ударом пьяного крыла
Разбить озеро забытья, где прозрачный лед
Сковал никогда не реализованные полеты?

Речь идет о лебеде. В недвижности «стерильной зимы» единственное на весь сонет движение — лебедь энергичным поворотом шеи пытается нарушить «белую агонию». И все. Лебедь застывает «в холодном сне презрения». Несколько эмоционально окрашенных слов дают возможность реминисценций касательно позиции поэта в сугубо антипоэтическую эпоху, но это, на наш взгляд, нежелательно — климат стихотворения слишком холоден для человеческих ситуаций. «Презрение» в коннотациях своих - отчуждение, концентрация, дистанция. И поворот шеи лебедя — последнее «прости» космическому элементу земля в его перфекции — «ледяном одиночестве».

1999

Часть III
Открытая герметика

Франсуа Рабле: вояж к Дионису

Слабая уверенность в том, что «Гаргантюа и Пантагрюэль» просто собрание гротескных, смешных и непристойных повествований, совсем развеивается в начале четвертой книги романа. Доблестная флотилия Пантагрюэля направляется в сторону «Верхней Индии» к оракулу Божественной Бутылки Бакбук. Автор извещает нас, что на корме главного корабля «*... вместо флага красовалась большая и вместительная бутыль наполовину из гладкого полированного серебра, наполовину из золота с алого цвета эмалью, из чего должно было явствовать, что сочетание белого цвета с алым — это эмблема наших благородных путешественников и что направляются они к бутылке послушать ее прорицание*» (с. 408).

Белое и алое-алхимические символы малого и большого магистерия, Божественная Бутылка, переплетенная виноградными узорами — алтарная амфора в храмах Диониса, который, помимо всего прочего, считался в Греции божественным покровителем алхимии[1].

Цель экспедиции ясна, и сие подтверждает терминологическая насыщенность четвертой и пятой книг. Остается только «расшифровать» своеобразные термины и высказать те или иные соображения касательно горизонтов герметической науки. Мы, несомненно, имеем дело с метафорическим и символическим описанием так называемого «влажного пути», ведущего к завершению «произведения в белом», к получению «белой магнезии», Lunaria Major, Tinctura Alba: путешественники, из которых каждый, возможно, символизирует те или иные субстанции или состояния вещества, обретают власть над превращением простых металлов в серебро... Однако подобная «расшифровка» ничего не даст кроме сомнительной замены непонятных слов столь же непонятными или обычного вывода, что алхимия либо сплошное надувательство либо секретное занятие посвященных. Да и зачем Пантагрюэлю и его компании серебро, когда у них золота и драгоценностей предостаточно? И стоит ли отправляться флотом из двенадцати кораблей в далекое плавание, только для того, чтобы узнать надо или не надо жениться Панургу? Какова идея целесообразности в алхимии? Силен — постоянный спутник Диониса — научил царя Мидаса превращать все вокруг в золото одним прикосновением. В награду за это и за другие желания и суждения Мидас получил, в конце концов, ослиные уши. Может быть, ослиные уши и являются вожделенной целью алхимии? Не исключено, поскольку в арабской алхимии «красный осел» символизирует активизированный (восточный) меркурий[2].

Итак, можно ли сказать, что алхимия хочет в процессе работы получить нечто более ценное сравнительно с исходным материалом? Человек нового времени, разумеется, ответит утвердительно и даже удивится подобной постановке вопроса. В новое время привыкли рассуждать так: человек существо материальное, главная характеристика материи — privatio (лишенность), следовательно, главное занятие человека — утолять эту изначальную

лишенность. Отсюда роковая предопределенность жизни и жестокая, возводимая в добродетель, целеустремленность. Герои интересующего нас романа действуют иным образом. В детстве Гаргантюа *«...запивал суп водой... частенько плевал в колодец... от дождя прятался в воде... бил собаку в назидание льву... любил, чтоб нынче было у него густо, а завтра хоть бы и пусто... дурачком прикидывался, а в дураках оставлял других... черпал воду решетом... охранял луну от волков...»* (с. 58). Такой стиль жизни сохранил он и далее, так жил и его сын Пантагрюэль со своими веселыми друзьями — согласно знаменитому девизу Телемской обители: «Делай, что хочешь». Могут возразить, что в романе Рабле речь идет о богатых и владетельных особах. Это поверхностный довод: вряд ли современные короли и миллиардеры могут делать все, что им заблагорассудится, скорее, они еще более, нежели простые смертные, опутаны законами и требованиями «человеческого сообщества».

Последние слова специально взяты в кавычки. Нас отделяет от Рабле четыре века, но эти четыре века — бездонная пропасть. Рабле вполне был способен оценить и прочувствовать конкретную жизненность крестовых походов, готических соборов и теологии Фомы Аквинского, то есть спроецировать на все это свое миропонимание. Мы совершенно лишены его преимущества. Что можем мы, однородная масса, созерцатели озоновых дыр, задавленные хищными субстантивами вроде «атомной угрозы» или «генной инженерии», спроецировать на Рабле, алхимию, историю вообще, кроме своих панических предчувствий, теории «исторических закономерностей» и «научной объективности»? Мы живем в эпоху, предсказанную в «Пророческой загадке», текст которой был высечен на медной доске, обнаруженной в фундаменте Телемской обители[3].

В шестнадцатом веке уже стала истончаться, иссушаться «мировая душа», связующая «небо духа» с «матерью-землей»; Рабле, Шекспир, Сервантес уже проницали зловещую зарю позитивизма, когда:

... рассудок подчинится слепо
Сужденьям черни, темной и свирепой,
К соблазну жадной, подлой, суеверной... (с. 154)

Угасание «мировой души» было, вероятно, не последней причиной необычайного распространения в семнадцатом веке тематики смерти, тлена, тщеты, распада. Радость бытия поблекла, сменившись критицизмом, скепсисом, сарказмом, живая вселенная медленно и верно стала превращаться в некий часовой механизм, а люди из оригинальных «монад» в более или менее объяснимые конструкции. Появилась необходимость в классификации, унификации, в социальных и природных законах, в общих системах измерений. Пространство, время, количество изолировались в категории, сколь возможно оторванные от манифестированного мира, который в силу его природного несовершенства необходимо познать и подчинить на благо человеку. Это у розенкрейцеров в семнадцатом и у масонов в восемнадцатом веке родился ужасающий фантом под названием «благо человека». Отсюда до «свободы, равенства и братства» было уже недалеко. Человека стали рассматривать как частицу общего целого, именуемого «человечеством», как существо, наделенное вполне распознаваемыми желаниями и потребностями и отличающееся от себе подобных лишь незначительными индивидуальными особенностями. Представлялось вполне возможным унифицировать желания и потребности равно как и средства для их удовлетворения, ради справедливого распределения «материальных благ». Если раньше экзистенциальная драма разыгрывалась в сложных отношениях между небесно-эйдетической abundatio (полнота, чрезмерность) и материальной privatio, то сейчас вопрос был поставлен иначе; либо разумное устройство земной, материальной, единственной жизни, либо небытие как полная диссолюция. Что из этого следует? Подводные идеологические течения восемнадцатого столетия принесли желанный ответ: следует попытаться построить земной парадиз, избавить человечество от болезней и голода и пролонгировать жизнь до неопределенного предела. В таком прогрессивном смысле розенкрейцеры и масоны интерпретировали христианскую алхимию и спагирию. Человечество как исходный материал (наподобие свинца, materia prima и т. п.) путем нравственного совершенства и с помощью естественных наук надо превратить в деятельное, свободное и светлое содружество. Только тогда можно будет

«делать, что хочешь», а пока надо делать, что тебе велят умные реформаторы[4]. Здесь очевидна пародия на традиционное знание, о которой писал Рене Генон, имея в виду спекулятивное розенкрейцерство и масонство.

В наше время об алхимии можно рассуждать весьма осторожно и гадательно: мы понятия не имеем о ее целях и вообще не знаем, что в средние века и в эпоху Рабле разумели под словом «цель». Говорить об алхимии как о «детстве» современной химии тоже несерьезно — несравненно больше для этой науки сделали фармацевты, парфюмеры, изготовители цветных стекол и поддельных драгоценных камней. Поскольку Рабле жил в кризисную эпоху, поскольку Рабле был доктором медицины, позволительно предположить, что его интересовало искусство восстановления «трансцендентального здоровья» (Новалис). На него, безусловно, повлияли идеи его современника Парацельса касательно спагирии — герметической медицины. Об алхимии Парацельс высказался в присущей ему острой и живой манере: *«К черту этих алчных лицемеров, сводящих божественную науку к одной цели: делать золото и серебро. Алхимия, которую они оболгали и обесчестили, есть искусство создания фильтров, тинктур и эликсиров, способных вернуть человеку утраченное здоровье»*[5].

Здоровье — здесь гармоническая аналогия центра и окружности, обусловленная тайными или явными связями человека со всем сущим, независимо от распределительной шкалы рацио. Наличие подобных связей порождает спонтанное, централизованное, активное, внимание, не теряющее своей свободы при встрече с притягательным объектом и не уходящее от объекта малоинтересного, опасного или безобразного. Такое состояние равновесия можно ассоциировать с алхимическим символом золота (круг с проявленной центральной точкой), всякое нарушение равновесия — со знаками других, менее ценных металлов: полная потеря означает эйдетическую смерть, когда пропадает latenta forma substantialis (скрытая субстанциональная форма), соответствующая упомянутой центральной точке. Эту форму часто именуют квинтэссенцией, и если теряется ее взаимосвязь с материальными элементами из-за приоритета какого-либо из них, человеческая композиция начинает корродировать наподобие металла.

Здесь надо отметить важный момент: любое соотнесение и сравнение человеческой ситуации с жизнью металлов, минералов и растений легитимно только в случае безусловного признания их одушевленности. Каждый металл, каждый камень, каждое растение образованы из четырех элементов (земля, вода, воздух, огонь), и внутренний драматизм их бытия возбужден двумя принципами — сульфуром и Меркурием. (Во избежание лишней сложности мы не будем сейчас говорить о роли третьего принципа — sal, — введенного Парацельсом.) Эти «элементы» и эти «принципы» не поддаются никакому однозначному толкованию — каждый эрудит, философ[6] или адепт часто интерпретировали их согласно собственному опыту и размышлению. В неоплатонической перспективе, принятой в европейской и арабской алхимии, благодаря сульфуру и меркурию осуществляется постепенное нисхождение формализующих эйдосов в материю, равно как очищение и сублимация материальных сущностей. Эти принципы действуют на каждой ступени бытия, в духовных или материальных структурах, в живой звезде или мертвом муравье. Сульфур проявляется «огненно», когда соединяет «горячее» и «сухое» в элемент «огня», Меркурий проявляется «акватически», сочетая «влажное» и «холодное» в элемент «воды». Поэтому сульфур в известном смысле и на определенной стадии характеризуется как «мужское начало», а Меркурий как «женское»: сульфур возбуждает в телах и веществах энергию и колорит, Меркурий — гибкость, блеск и летучесть. В этом плане мужское и женское начала крайне антагонистичны — отсюда высокая трудность conjunction oppositorum парадоксального слияния «мужчины» и «женщины» на стадии «лунного андрогина». Разнообразных трудностей в алхимии хватает. Если обратиться к ситуации «элементов», проблема несколько изменится: Парацельс говорит о тяготении «мужской» воды к «женской» земле и о стремлении «женского» воздуха к «мужскому» огню. Если учесть одновременность и постоянство внутренних процессов и внешних воздействий, то понятно, что никакое логическое изложение не в силах адекватно отразить алхимический «opus magnum». Когда Пантагрюэль и его спутники приплыли в «королевство квинтэссенции», они были весьма удивлены, поскольку тамошние ученые

не усматривали *«...ничего невероятного в том, что два противоречивых суждения могут быть истинны по модусу, форме, фигуре, а также по времени. Между тем парижские софисты скорее перейдут в другую веру, чем признают это положение»* (с. 595).

Во времена Рабле и для самого Рабле наука не являлась специальным занятием в специально отведенном помещении. Над такими занятиями, — например, над богословскими диспутами в Сорбонне — его герои зубоскалят очень охотно. Наука входила в жизнь как война, любовь, путешествия, и ее вокабуляр был пропитан инородными словами и выражениями. Только в новое время наука стала уделом «посвященных», в основном анонимных, только относительно недавно для научных теорий потребовались специальные знаковые системы, практически непереводимые на обычный язык. (Еще одна разновидность пародии в смысле Рене Генона). Но знание Рабле, в силу его централизации, может излагаться в любой фразеологии и комментироваться в любой знаковой системе без всякой нарочитой тенденции к зашифрованности. И занятие это, пребывающее в ассоциативном пространстве Афродиты, Дианы, Диониса, безусловно может быть отражено в эротическом или развлекательном повествовании. Комментарии к залихватским пассажам Рабле вызовет, вероятно, улыбку, но, по словам Ортеги-и-Гасета, *«...понятие — обиходное или интеллектуальное — мертво, если его не озаряет искра альционического смеха»*. Упоминая о «главных женских приманках», Панург приходит к следующему выводу: *«Вот из них-то и надо строить стены, сперва расставить эти приманки по всем правилам архитектурной симметрии, — какие побольше, те в самый низ, потом, слегка наклонно, средние, сверху самые маленькие, а затем прошпиговать все это наподобие остроконечных кнопок... теми затвердевшими шпажонками, что обитают в монастырских гульфиках. Какой же черт разрушит такие стены? Они крепче любого металла, им никакие удары не страшны»* (с. 204). Такова андрогинная структура равновесия. Мужское начало отличает центробежность, женское — центростремительность. Под алхимическим равновесием имеется в виду стойкая сопротивляемость внешним воздействиям

и независимость от них — это, в частности, признак благородства металла. Постоянная фаллическая активность, вызванная женской притягательностью и вызывающая оную, — необходимое условие гармонического единства. Достижение равновесия — одна из главных целей opus magnum — дает надежду на обретение «утраченного здоровья», и потому размышление о равновесии актуально на всех этапах работы, особенно при устройстве атанора — алхимической печи. Бернар Тревизан — французский алхимик пятнадцатого века — так пишет на эту тему: *«Помни, атанор — главное в нашем произведении. Он должен выдерживать не только жару и холод, но и режим нашего огня. Пусть никакая сила не разъединит его составных частей, подобно тому как ничто не разорвет истинной любви»*[7]. Не правда ли, есть известная аналогия с шуткой Панурга?

Выше мы говорили о необходимости признания одушевленности любых материальных явлений, так как без этого в алхимии вообще понять ничего нельзя и остается только причислить ее к истории науки или человеческих заблуждений. Степень жизненности человека определяет степень жизненности всего остального. Для мертвеющего мертвеет все. Только антропоцентрическая позиция стимулирует anima mundi, поскольку человек есть медиатор между небом и землей. Сейчас это понятно лишь в негативном смысле: если человек погибнет — погибнет все. Anima mundi можно интерпретировать как эманацию квинтэссенциального циклического динамизма, предохраняющего материальную композицию от сожжения, распыления, растворения, падения, иначе говоря, anima mundi способствует согласию в жизни четырех элементов. К тому изменяя натуральное движение каждого элемент[8], она сообщает каждой композиции качественно иной кинетический характер. Мы употребляем слово «композиция», потому что в алхимии, как и вообще в допросветительской цивилизации, царило естественное «геоцентрическое» восприятие, где еще не были инструментально усилены и абстрагированы отдельные органы чувства: для сложного восприятия не может существовать «простых» явлений. Отсюда невозможность «объяснения снизу» и аналитического усилия по рассечению материи на элементы периодической таблицы, равно как невозможность познания в современном понимании. Более того, в средние века и еще в эпоху Рабле считали, что подобное «познание» ограничивает либо убивает человека. Если человек пребывает в центре, будучи медиатором, ему совершенно незачем что-либо «познавать», напротив, ему надо идти в неизвестное, дабы удивляться «чудным делам Господним», интенсифицировать, обогащать свое восприятие, а также избавляться от пагубной привычки находить в чем бы то ни было нечто «известное». Так путешествуют Пантагрюэль и его спутники и так они ведут себя, к примеру, на острове воинственных колбас. Мера неизвестного характеризует творческую энергию бытия и наблюдателя бытия. Неизвестное открывает изменение в пространственных и временных модусах явлений и ситуаций[9]. К неизвестному апеллирует Парацельс, высказывая такое соображение: *«Это не благодаря глазу видит человек, но глаз видит благодаря человеку»*[10]. Следовательно, чтобы вылечить глаз, надо сначала вылечить человека, вернуть «утраченное здоровье».

Концепция микрокосма предполагает разветвленные скрытые взаимосвязи человека с окружающим миром: рациональное мышление либо не подозревает о них, либо вообще отрицает. Живая сила циклического течения anima mundi препятствует хаотической изолированности объектов и наделяет их разнообразной и поливалентной функциональностью соответственно структуре и композиции каждого. Невозможно изучать и математически определять подобную функциональность, действующую наяву и во сне, во времени и пространстве и вне оных. Надлежит фиксировать и запоминать различные действия, влияния и реминисценции растений, цветов, насекомых, камней, металлов, дабы использовать все это в целях медицинских, военных и честолюбивых. Эфир (квинтэссенция) посредством циклически-спирального движения anima mundi так или иначе, в большей или меньшей степени приобщает любой объект к единству и гармонии. Отсюда скрытые или едва ощутимые связи между манифестациями, состояниями и ситуациями, казалось бы, полярно различными. *«Невозможно отыскать противоположности,* — писал Николай Кузанский, — *из которых одна по отношению к другой не была бы единством»*[11].

Таково обоснование натуральной магии, занимающей столь важную позицию в романе Рабле[12]. Натуральная магия немыслима без убеждения в загадочной одушевленности каждой вещи. При должном внимании и политесе есть шанс как-то «понять» интенции, желания и возможности объекта. Неважно, почему именно аметист лечит от пьянства, чеснок противодействует магниту или почему лев боится белого петуха, главное — принять это к сведению для сложной ориентации в сложноодушевленном мире. Язык натуральной магии восходит к первичной простоте формирующего света и, учитывая эфирные, зодиакальные и планетарные влияния, отыскивая соответствия в геометрических фигурах, числах и алфавите, нисходит в запутанное многообразие качественной бесконечности минерального, растительного и животного царства. В наше время практически невозможно вникнуть в эту грандиозную систему действительных соответствий, в постоянно разрастающуюся символическую панораму всех областей бытия, где свое место имели или находили цветы, камни, деревья, звери и буквы. Знание ли это? Или просто дискретная и расплывчатая осведомленность о жизни цветов вне ботаники и эстетики, о жизни букв вне грамматики? Непонятность и неизвестность — условия магической напряженности бытия. Если сочетание линий, кристалл или заклинание не желают функционировать согласно рецепту книги по магии, тем лучше: они обладают иным, неведомым полем действия. И здесь интерпретация не есть «расшифровка», но расширение возможностей символа. Вот, к примеру, рассуждение о латинской букве «Н». Это — «дух», «универсальная душа вещей». По форме буквы «Н» средневековые строители создавали фасады соборов. Центр и сердце одной из монограмм Христа JHS — Jesus Homineum Salvator. Масонский знак двух колонн храма Соломона. Один из алхимических символов магнезии...[13]

Можно продолжить перечисление, но и этого более чем достаточно, хотя символика «Н» в данном случае относится лишь к духовной и небесной иерархии, не касаясь человека и природных царств. Подобная символика, акцентируя преамбулу неизвестности, способствует созданию гибкого универсального языка, который, будучи лишен познавательной целесообразности, позволяет обсуждать с любым человеком любую проблему. В романе Рабле много тому иллюстрации. В критической литературе часто упоминается и разбирается замечательный диспут Панурга с английским ученым Таумастом. Молчаливый диспут ведется с помощью забавной жестикуляции и показа пустяковых вещей, как-то: бычьих ребер, дощечек, апельсина. Здесь отнюдь нельзя утверждать, что шутовской характер сцены маскирует серьезную проблематику спора, поскольку жизнь в те времена еще не отличалась резким дуализмом и спонтанная цельность бытия еще не разрывалась оптимизмом и пессимизмом, мажором и минором, радостью и тоской. Главные экзистенциальные проблемы (если таковые имеются) в силу своей центральности могут не опасаться постановки с ног на голову и всяких иных рискованных и легкомысленных перемещений. Итак, Панург и Таумаст «беседуют» о философии, каббале и геомантии. *«Надобно вам знать, что у Панурга на конце длинного гульфика красовалась кисточка из красных, белых, зеленых и синих шелковых нитей, а в самый гульфик он положил большущий апельсин»* (с. 215). Гульфик — важное дополнение костюма и несомненно заслуживает пространного толкования, но мы ограничимся одной лишь подробностью: «гульфиком» в алхимическом «просторечии» назывался цилиндрический реципиент дистиляционной реторты «зибаг». Упомянутые цвета относятся к трем царствам природы и небесам, апельсин — символ солнца и «ктеис» Афродиты Урании. Если каждый палец, каждая фаланга и ноготь, каждая конфигурация пальцев обозначает числа, буквы, планеты, стихии, металлы и операции, если мысли и мнения оппонентов выражаются в наглядной ловкости жестов, то понятно, что вести подобный диспут возможно и без помощи слов. Эту уморительную сцену с ее драстическими деталями трудно комментировать ввиду многозначности любого жеста. Англичанин, по-видимому, придерживается традиционного понимания алхимии во всем, что касается сезона работы, последовательности операций и постоянства режима «тайного огня». Панург же считает фиксацию «тайного огня» делом безнадежным. *«Панург недолго думая поднял руки и сделал вот какой знак: он приставил ноготь указательного пальца левой руки к ногтю большого пальца той же руки, так что внутри*

образовалось как бы колечко, а все пальцы правой, за исключением указательного, сжал в кулак, указательный же он то совал в это колечко, то вынимал» (с. 217). Колечко, образованное пальцами левой руки, — еврейская буква «мем», которая обозначает, среди прочего, активизированную первоматерию; указательный палец правой руки — еврейская буква «шин» — «тайный огонь». Комбинация сия ассоциирует состояние (событие, вещество) магнезии, соотнесенное с латинской буквой «Н»[14].

Мы только намекнули на вероятную направленность комментария к данному диспуту, ибо, как известно из романа, Таумаст написал на эту тему большую книгу. Возразят, что жест Панурга вполне объясним и без всякой каббалистики. Более того, скажут, что таким высокомудрым способом можно комментировать любое пальцеверчение, да и любую вербальную чепуху, например, бредовую тяжбу сеньоров Пейвино и Лижизада из того же романа. Это допустимое замечание справедливо — в тяжбе сеньоров содержится много интересных истин. Рабле стремится дать человека в целом, а не представителя какой-либо группы, чье поведение обусловлено определенным интеллектуально-этическим каноном. Гигантизм Гаргантюа и Пантагрюэля позволяет автору крупномасштабно отразить человеческую жизненность, не пренебрегая ничем и не вытесняя ничего[15]. В этой глобальной жизненности все органично, и нет искусственной оппозиции высокого к низкому, умного к глупому, закономерного к случайному. И добродетель заключается не в бездумном принятии сакрального или светского устава социальной группы, но в покорности зову и законам собственной судьбы, которая есть реализация индивидуального микрокосма. Так понятая судьба определяет ориентацию, темперамент и отличительную психосоматическую тенденцию индивида. Это развернутость (explicatio) в земной жизни таинственной закономерности «внутреннего неба», специфического плана формообразования и функциональности, присущего каждому индивиду. Здесь царит правильная цикличность, сравнимая с квинтэссенциально-эфирным движением звезд и планет — отсюда идея индивидуального астрального континуума. Душа, проходя этот континуум и обретая круглую эфирную оболочку («охему»), нисходит в земное тело и «растекается» в нем. Итак, физическое совершенство тела и циклическая гармония бытия в известной мере зависят от того, как и насколько эфирная материя души проникает в земную вещественность. Только при полной и равномерной насыщенности человек становится медиатором между небом и землей, и только к такому человеку относятся слова Парацельса: *«Внешнее и внутреннее небо есть одно небо, разделенное надвое: отец и сын двое суть, но одну анатомию имеют»*[16]. *И по поводу такого человека сказано у Рабле: «Ибо все сокровища, над коими раскинулся небесный свод и которые таит в себе земля, в каком бы измерении ее ни взять: в высоту, в глубину, в ширину или же в длину, не стоят того, чтобы из-за них волновалось наше сердце, приходили в смятение наши чувства и разум»* (с. 270).

Последнюю фразу нет резона понимать как призыв к «спокойствию духа». Никакими уговорами, никакой «моральной дисциплиной» этого спокойствия не достичь — оно является одним из следствий удачной мистической реализации. Человеческой особи, составленной из четырех стихийных элементов, раздираемой враждебными сульфуром и Меркурием, управляемой вечно сомневающимся рацио, трудно упорядочить изначальный хаос и трудно повиноваться невидимой, гипотетической судьбе. И одна из главных проблем романа — поиск органической связи распадающегося человека с его собственным микрокосмом, что предполагает отказ от точек опоры и внешних стабильных центров притяжения и отталкивания, то есть предполагает возможность... плаванья.

Мы притянуты, зажаты и схвачены землей. Когда мы говорим о «материальности», то прежде всего имеем в виду плотность, осязаемость, тяжесть — этими атрибутами мы весьма дорожим и боимся их потерять. Согласно неоплатонической доктрине четыре стихийных элемента взаимосвязаны, могут трансформироваться друг в друга и более того — каждый содержит в себе три остальных, так сказать, в подчиненном состоянии. Наша позиция относительно воды, воздуха и огня, наши воззрения на них — все это определено «землей» как доминирующим элементом. Представим приблизительно, как мы, несколько утратив плотность, осязаемость и тяжесть, равно и стабильность ориентиров, пытаемся жить в неоплатонической «воде», наблюдая и ощущая иную «материаль-

ность» земли, воздуха и огня. Для алхимии это первый проблеск свободы и могущества, первое убеждение в том, что «мы сотворены из субстанции снов» согласно известной фразе Шекспира. В «субстанцию снов», в «философское море» поднимается «схема», покидая земное тело. По словам Пантагрюэля, *«...пока наше тело спит... душа наша преисполняется веселия и устремляется к своей отчизне, то есть на небо. Там душа снова обретает отличительный знак своего первоначального божественного происхождения... приобщившись к созерцанию бесконечной духовной сферы, центр которой находится в любой точке вселенной, а окружность нигде (согласно учению Гермеса Трисмегиста это и есть бог), сферы, где ничто не случается, ничто не происходит, ничто не гибнет, где все времена суть настоящее...»* (с. 296).

Однако человек, в отличие от Бога, не способен принять за центр «любую точку вселенной». Необходимо сначала найти центр своего бытия, признать его за таковой, дабы в постепенной «циркум-амбуляции», то есть в циклическом приобщении к индивидуальной квинтэссенции, обрести «трансцендентальное здоровье». Иначе плаванье в «философском море» может кончиться весьма плачевно — Гермес Трисмегист в диалоге «Пимандр» упоминает о «неразумной смерти». Это ключевой момент, присущий только алхимическому поиску. Надо ректифицировать материю тела, трансформировать «грешную Адамову плоть» в «новую землю», что приведет к резкому изменению параметров бытия и позволит расплавить застывшее восприятие мира. Только тогда возможно «произведение в белом». Подобный ректификатор имеет много названий: азот, витриоль, «молоко девы» и т. д. Получение его или обладание им отличает адепта от ученика или квалифицированного эрудита. У Рабле сей ректификатор носит имя «пантагрюэлион», и к нему мы вернемся чуть позднее.

Обратимся к побудительному сюжетному диссонансу. Панург хочет жениться, но очень опасается столь решительного шага. Ни друзья, ни разные прорицатели не в силах рассеять его сомнений. Мужчина (как и «мужской» элемент воды) пребывает между двумя женщинами («женскими» элементами земли и воздуха), в мифологическом смысле между Афродитой Пандемос и Афродитой Ура-

нией. Жестокая дилемма очевидна: либо надо уступить естественному влечению к земной женщине и «раствориться» в земле, либо найти возможность подняться к «женскому» воздуху, к «идеалу». Мужчина, в отличие от женщины, существо неуверенное и проблематичное в подчинении земной доминанте. Отсюда постоянный бунт против земной жизни и принципиальная неестественность патриархальных мифологем: дерево корнем в небо, Ева от ребра Адама, рождение от Девы и т. п. Мужчина, сотворенный из праха земного среди зверей полевых и затем перенесенный в Эдем, изначально децентрализован и дисгармоничен. Корнелий Агриппа, весьма почитаемый Рабле, в своей книге «О превосходстве женского пола над мужским» комментирует ситуацию так: *«Адам — первый опыт Бога по созданию человека — только ступень к Еве. В отличие от Адама, Ева сотворена в центре парадиза и посему обладает куда более гармоничной природой... Мужчина неуклюж, бородат, волосат, в нагом виде уродлив... Сколько бы он ни мылся, с него стекает грязная вода...»*[17] И так далее, и еще хлеще. В этих прециозных и вопиющих утверждениях содержится доля алхимической истины: избыток горючего сульфура (sulfur combustabile) приводит к резкому дисбалансу в мужской композиции (это равно касается растений, металлов и минералов), о чем пишет, например, Арнольд Вилланова (XIV век): *«В каждую вещь и в каждое действие сульфур привносит черноту. Избыток сульфуричности ведет к коррозии и разрушению... Сульфур имеет две причины коррозии: горючую субстанцию и земную скверну»*[18]. Следовательно, сульфур, его центробежную фаллическую энергию надо правильно использовать для мелиорации и оплодотворения — такова цивилизаторская роль Деметры, богини земледелия. Чтобы добиться благосклонности женщины — царицы земли, — мужчина должен стать ее рабом, хочет он того или нет. Поскольку для свободомыслящего Панурга подобный удел исключен, он может помышлять лишь об «алхимическом браке», жениться на «воздушной женщине», живущей в его снах и воображении, лунной повелительнице микрокосма, притяжение которой способно вырвать из цепких земных объятий. Ее лунная квинтэссенциальная сила (во внешнем мире квинтэссенциальная сфера луны расположена непос-

редственно над стихиями четырех элементов) способна гармонизировать человеческую композицию, устранить пассивную фаллическую целеустремленность, активизировать сульфур центростремительным действием Меркурия. «*Наш меркурий,* — писал Ириней Филалет, — *обращает металлы в меркуриальную первоматерию путем отделения от присущего им сульфура раскрывает сокровенность металлического тела*»[19].

Но этот процесс центроверсии, захватывающий главные области бытия — физическую, интеллектуальную, этическую и эротическую, — невероятно мучителен и жесток. Здесь гораздо легче сойти с ума или умереть, нежели выиграть что-либо. Правда, физическая смерть расценивается в алхимии как оперативный и рабочий момент. Более того: «Раймунд Луллий считает, что композиция совершенствуется смертью, ибо смерть отделяет чистое в натуре композиции от нечистого и гетерогенного»[20]. И понятно почему: в алхимии не существует линейного, поступательного времени, обусловленного христианской эсхатологической идеей «конца света», согласно которой абстрактное время разделяется на абстрактное, прошлое, настоящее и будущее, а жизнь представляется нелепым «времяпровождением» от случайного рождения до неизбежной смерти. Но когда движущийся движется реально, и движение определяется неведомым центром микрокосма, конец совпадает с началом и смерть с рождением.

* * *

Квинтэссенциальное влияние, взаимосвязи искателя и «белой женщины» его микрокосма удивительно интерпретирует Джон Донн в стихотворении «A Valediction: forbidding Mournng» («Прощальное слово: запрет на траур»). Здесь соединение этой «пары» сравнивается с циркуле:

And thoght it in the center sit,
Yet when the other far doth roam,
It leans and hearkness after it,
And grows erect, as that comes home.
Such wilt thou be to me, who must
Like th'other foot, obliquely run;
Thy firmness makes my circle jus
And makes me end where I begin

(... И хотя она утверждается в центре,
Он свободно уходит в странствие,
Она же склоняется и вслушивается
И выпрямляется по его возвращении.
Будь тем же для меня и ты, ибо я должен
Подобно той ножке циркуля, двигаться окольными путями,
Но твоя стойкость направит мое движение по кругу
И соединит его начало с его концом.)

Но как достигнуть таинственного соединения (mysterim conjunction), как зафиксировать беглый отблеск «летучей дамы» на «воде» воображения? Мы уже упоминали, что решение данной загадки делает возможным переход от «черной стадии» (обычная жизнь, хаос которой сознательно интенсифицирован) через промежуточные колориты к «белой стадии» произведения. Рабле предлагает травы «пантагрюэлион». Эликсир назван так потому, что «Пантагрюэль представляет собой идею наивысшей жизнерадостности» (с. 388). Состав и действие растения характеризуются долго и подробно и в обычной жизнерадостной манере, однако, спагирическая направленность текста очевидна. Среди развеселых рекомендаций назовем две, имеющие непосредственное отношение к таинственной фиксации: «*Если подольете этого соку в ведро с водой, то у вас на глазах вода как бы створожится... При помощи этого растения существа невидимые видимо улавливаются, задерживаются, захватываются...*» (с. 388—389).

* * *

Алхимические операции не имеют шансов на успех без постоянного действия «тайного огня». Можно великолепно представлять все стадии процесса, изучив массу литературы, и не добиться ничего. Тайный огонь надо иметь либо беспрестанно молиться о его ниспослании. Надо завоевать сердце «белой женщины» или «нашей Дианы» или «живого меркурия». Корабли Пантагрюэля плывут в направлении полюса, так как, по словам Иринея Филалета (XVII век): «*В полюсе пребывает сердце меркурия — истинный огонь... И тот, кто хочет пересечь великое море, должен сверять свой курс по полярной звезде*»[21].

Согласно орфическому гнозису пурпурный луч тайного дионисова огня пронизывает все сферы бытия, исчезая в безднах неведомо формализованных структур. В зависимости от драматических перипетий мистерии Диониса меняется интенсивность этого огня и его свойства. Поскольку Дионис — враг Деметры, его огонь возбуждает тайное брожение в колосе, препятствует ледяной кристаллизации мужской «воды» и разрушает геометрическую тенденцию восприятия мира»[22]. Этот огонь лучезарным своим смехом соединяет безобразное и прекрасное, низкое и высокое, повышает жизненность явлений и ситуаций, то есть меру их непредсказуемости и неизвестности. Он повышает уровень карнавальности бытия.

Дионисийский огонь (spiritus vini, aqua ignis), сублимируя материальность вещей, акцентирует весомость их отражений и придает пеструю изменчивость бытию. В античности под карнавалом понимался морской апофеоз Диониса. Отсюда «карнавальный» характер «веселых наук», среди которых еще во времена Рабле занимали важное место риторика, музыка и алхимия. В самом деле: алхимические начала, принципы, акциденции, субстанции, элементы, изначально неизвестные, «замаскированны» массой названий. Бесполезно снимать подобные «маски» с целью выявления «сути». Позитивисты, свято убежденные в «неприглядности правды», всегда найдут пустые глазницы за сверкающим взглядом. Алхимия хочет избавиться от такой правды, отделить «чистое» от «нечистого». Когда путешественники, приближаясь к королевству Квинтэссенции, попадают на остров Пушистых Котов, эрцгерцог Цапцарап задает им следующую загадку:

Какая-то блондинка, без мужчины
Зачав ребенка, родила без муки
Похожего на эфиопа сына... (с. 572)

Речь идет об отделении от серебра сульфурической черноты, об «избавлении от тени», о выходе из «черной стадии». Панург правильно решает загадку, предлагая эрцгерцогу золотые экю с изображением солнца — это не объяснение, но перспектива дальнейшего пути, так как Пантагрюэль и его друзья давно покинули подвластный

«земле» космос и углубились в онирические, лунные пейзажи «философского моря». В пятой книге романа очень точно обозначены этапы «произведения в белом» вплоть до храма Диониса и фонтана «питьевого золота» (aurum potabile). Здесь под влиянием королевы Квинтэссенции и жрицы Бакбук заканчивается «женская работа» — так в алхимии называется «произведение в белом». Далее путешественникам предстоит дионисийская дорога к солнцу — «опус в красном» (rubedo), который адепты именуют «детской игрой»[23]. В чудесном описании храма Диониса есть несколько строк, касающихся этой предельной темы. Скульптор *«...ухитрился вырезать на поверхности хрустальной лампы ожесточенную и забавную драку голых ребятишек верхом на деревянных лошадках, с игрушечными копытцами и щитами, старательно сложенными из перевитых лозами кистей винограда...»* (с. 633).

Таковы разрозненные впечатления от веселой премудрости Рабле. Текст не имеет никаких амбиций ни в познании алхимии, ни в изучении «Гаргантюа и Пантагрюэля», а написан для развлечения людей любознательных.

1995

Примечания

(1) Berthelot M. Les origines de 1'alchemie. P., 1865. 202-205.

(2) Мы будем называть алхимические принципы словами «меркурий» и «сульфур», так как русское «ртуть» и «сера» обозначают только химические элементы.

(3) Один из многочисленных примеров поразительно вольного обращения с категориями пространства я времени. Действие романа происходит в актуальное для автора время, да и сам автор — один из спутников Пантагрюэля. При этом он говорит о «медной доске» как о археологической находке.

(4) Роль тайных обществ в развитии просветительского позитивизма: Thorndik L. A History of Magie and Experimental Science. L.. 1928. V. 4.

(5) Paracelsus. Samtliche Werke. Munchen. 1929. Bd. 8. S. 246.

(6) Так в средние века именовали алхимиков и герметиков.

(7) Bernardus Trevisanus. Von der Hermetischen Philosophia. Strassburg, 1586. S. 48.

(8) Имеется в виду аристотелевская концепция особого движения, присущего каждому элементу.

(9) Только после Декарта категории времени и пространства стали рассматриваться независимо от реальности вещей.
(10) Paracelsus. Op. cit. Bd.5 S. 16.
(11) Кузанский Николай. Сочинения. №. 1979. T.I. C. 208.
(12) Подробно об этой проблеме: Masters C. M. Rabelasian Dialectik and the Plato-Hermetik Tradition. L, 1969.
(13) Символика буквы «Н»: Fulcanelly. Les demeures philosophales. P., 1968.
(14) О герметическом языке жестов: Blau J. D. The Christian Interpretation of the Cabala in the Renaissance. L., 1944. P. 95. О масонской интерпретации диспута: Naudon P. Rabelais francmason. P., 1954. Ch. 6.
(15) Жак Дидье и Франсуа д'Эстан — известные исследователи Рабле — считают, что поводом для создания подобных героев послужила каббалистическая легенда о гигантских королях-преадамитах.
(16) Из комментария к Марсилио Фичино. Paracelsus. Op. cit. Bd. 10. S. 26.
(17) Nettesheim Agrippa von. Gesammelte Werke. Munchen, 1972. Bd. 3. S. 312, 313, 340.
(18) Arnaldus de Villa-Nova. Chymische Schpiften. Frankfurt, 1683. S. 94. В алхимической риторике непроявленные причины именуются по своим проявленным следствиям.
(19) Bibliotheque des philosophes chimiques. P.. 1743. V. 3. P. 125. В алхимии никогда не бывает просто сравнительных аналогий. Здесь, помимо все прочего, имеются в виду металлы, растворенные в человеческом теле.
(20) Chevalier C. Discours philosophiques, P., 1784. V. 1. P. 44.
(21) Bibliotheque des philosophes chimiques. V. 3. P. 92.
(22) Walter F. O. Dyonisos: Mythos und Kultus. Hamburg, 1933.
(23) В необъятной литературе по алхимии очень мало книг, посвященных «опусу в красном», и они отличаются крайней сложностью. Исаак Ньютон в постраничных надписях на экземпляре «Открытого входа в закрытый дворец короля» Иринея Филалета заметил: «До получения белой магнезии о красном магистерии сказать нечего» (Thorndik L. A. History of Magie and Experimental Science. V. 3. P. 220).

Спящая красавица

Ветер сдувает изморозь, в перламутровых переливах черного льда блуждает точка истинного огня, оранжево багряные цикламены рассыпаны в ослепительных снегах. Terra foliata: симфония в белом мажоре, белая девственница лунных ущербов. В полюсе спит сердце меркурия, в ледяном презрении лебедя темперация равномерна ...

«но в глазах обращенных на север
Мне, холодному, жгучая весть.»

Александр Блок — трувер недоступной девы и влюбленности.

* * *

Алхимическая графика склонна рассматривать вещи вторым, символическим зрением. Трудно понять, что такое символ. Представим: в снегу лежит чернокудрая,

белая дева, кровавится педикюр в раскиданных ногах; скажем: это символизирует три фазы великого магистерия — черную, белую, красную. Хорошо, а дальше что? — спросит мечтатель-любитель. Ничего, — ответим мы. Как ничего! Это спящая красавица полярных широт, над ней — нечто ангелическое на крыльях цвета меди, чуть тронутой прозеленью, это называется ...Vitriol, окись меди и аббревиатура: visita interiora terra... и так далее. Вернемся к спящей деве — она просыпается в присутствии принца, важный момент: принц ее не целует, просто пребывает на коленях. (Потом все-таки женится, дело идет к детям и дальнейшим злоключениям, ибо у принца мать — людоедка. Это, скорее, магическое продолжение и, в данном случае, это нас не интересует.)

В герметике процесс герметичен. По сословной иерархии, принцесса - argentum, потенция «лунного серебра», принц — sulfur blanc, активность «белого сульфура» или «света Лунуса».

Для пояснения попробуем привлечь схему Николая Кузанского под названием «Парадигма», основанную на следующем постулате: «Вселенная и любые миры — результат разнообразного взаимопроникновения единства и всего «иного». Две пирамиды (равнобедренные треугольники на плоскости) взаимопроникают, касаясь вершинами оснований. Имеют эти пирамиды разнообразные названия: свет и тьма, эйдос (форма) и материя (лишенность), акт и пассив и т.д. *«Высший мир,* — поясняет Кузанский, — *насыщен светом, но не лишен тьмы, хотя она почти исчезает в простоте света. В низшем мире царит тьма и свет проявлен едва-едва. В срединном мире соответственно срединные качества...»*

Допустимо ли считать единство-свет небесно-фаллическим началом, актом вне потенции, актом, рождающим потенцию? Так следует из текста Кузанского: *«По нисхождению единства в иное, по восхождению иного в единство понятно: в высшем мире иное уходит в единство, делимость в неделимость, тьма в свет, грубое в тонкое, сложное в простое, смертное в бессмертное, изменчивое в постоянное, женское в мужское, потенция в акт, незавершенное, или часть, в целое и т.д. В низшем мире неделимость вырождается в делимость, постоянство скрыто в изменчивости, акт — в потенции, мужское начало — в женском... В срединном мире соответственно срединное состояние...»*

В герметическом плане любой вариант сказки о спящей красавице излагает ситуацию в срединном мире. Принцесса и принц (мы говорим о традиции сословий) живут в срединном мире, в лунной сфере — не астрономически, но экзистенциально. Это сфера контрадикций, распутья, свободы выбора, здесь можно уступить фатуму и победить фатум, но: здесь нет бескомпромиссного земного притяжения, делимости, распада во тьму и «ничто». Спящая принцесса — уже организованная квинтэссенциально materia prima magisterium alba. Присутствие принца пробуждает скрытое в ее центре мужское начало (иос, клитор, мальчик с пальчик, Zeus Arcanus, бог секретных советов и т.д.). Движение, действие. Майстер Экхарт называет это мужское начало latenta forma substantialis, Николай Кузанский — forma formante.

В пробужденной красавице происходит автопрегнация и рождается «сын философов»(filius philosophorum).

Таков символ и символ понять трудно.

Почему?

Согласно схеме «Парадигма» пребываем мы в подлунном, «низшем мире», где «неделимое (индивидуальность) вырождается в делимость, а мужское начало сокрыто в женском.» Даже при наличии мужских половых признаков. И современный «ход истории» суть погружение во тьму «иного», в «auflosende Weiblichkeit» («растворяющая женская субстанция» — выражение И.Я. Бахофена), в социум, в царство количества... денег. Не особо стимулирует сказка о спящей красавице. Нам нравятся разновидности кровавого, сладострастного, жестокого, экзотического распада; жрица Мамалоа культа вуду донельзя растянутым ртом, черными в соке «манди» зубами отгрызает голову собственного младенца... Ах!

Время индивидов кончилось, человек ныне представляет конгломерат разрозненных, отчужденных, противоречивых, враждебных качеств, тенденций, способностей, хаос, время от времени организуемый какой-либо гравитацией. Несмотря на восторги касательно «покорения космоса» и «познания глубин материи», аккумулируются сравнения, метафоры, поверья, максимы менее веселые: мы — стадо, погоняемое кнутом банды политиканов и

финансовых корпораций, марионетки кукольного балагана, опилки да песчинки круговерти ведомых либо неведомых сил. Это ясно по схеме «Парадигмы»: «формообразующий свет» практически поглощен субстанцией «иного», децентрализованная человеческая композиция составляется, меняется, разрушается по прихоти...родителей, социума, страха безденежья, потери «места в жизни» и прочего. Психология, антропология, медицина рассекли человека на сотни частей: рацио, мечтательность, прагма, лень, профессия, хобби, пристрастия дурные, менее дурные, комплексы и так далее. А.Ф. Лосев в комментариях к Проклу пишет: *«Целое, из которого состоит организм, есть идея и принцип организации организма. Если этого принципа нет и если он уходит из организма, то организм разваливается на отдельные, уже не органические части, не имеющие отношения одна к другой.»*

Это положение дел интенсифицировалось после французской революции. Принцип, эйдетическая форма это небесный образующий огонь. Его трансмиссию до телесной периферии можно назвать «духом», «линией логоса» индивида. (Пример внутренней органической энергии в строках Агриппы д'Обинье: *«Когда я люблю, я живу только любовью, независимой от объекта любви...И этот огонь никогда не дает дыма.»*) Если этого нет, «части» сбиваются в механизм, враждуют меж собой за лидерство, истощаются, изнашиваются, заменяются. В отличие от организма, механизм полностью зависит от авторитета-оператора и энергии, заимствованной извне. Авторитеты: Бог, магический помощник, отец, начальник, мать, атаман, учитель, устав социальной среды и т.д.; энергии: деньги, стимулы, доппинги и т.д.

Постулат Кузанского гласит: *«Единство целого, соединяющего части, выше единства части, способной к соединению.»* Постоянное «соединяющее целое» всегда вне воплощения: Бог, Прекрасная Дама, честь, добро, красота. Воплощенное «соединяющее целое» более или менее транзитно — оно исчезает, его власть прекращается, композиция начинает работать вхолостую, скучать, ржаветь...до появления нового авторитета, новой энергии.

Роман Г. Г. Эверса «Вампир», Мексика начала двадцатого века, чехарда кровавых диктатур: перед пьяным мексиканским офицерьем стройная красивая девушка

танцует румбу — в распаленном ритме одна грудь выпрыгивает из блузки; офицеры, одурманенные насилием, резней, водкой, вопят: другую, другую... и вот выпрыгивает другая — апофеоз! Генерал швыряет танцовщице кольца, браслеты, жемчуга, любопытно вот что: даже герой, скептический интеллектуал, чувствует сердцебиение и непреодолимое влечение. Танцовщица: женская субстанция, растворяющая мужского индивида, но при этом пастушка, собирающее стадо возбужденных самцов, транзитное «соединяющее целое».

Девятнадцатый век, роман Эмиля Золя. Грудастая, гибкая Нана выставляет публике розово-жемчужную роскошь своего крупа — негодующие зрительницы отворачиваются, мужчины воют от счастья...Она высасывает из мужчин деньги, сперму, кровь, отбрасывая нищих и опустошенных погибать от бешеного огня неутолимых желаний. Мужчины предчувствуют катастрофу, но ведь это потом, потом...

Нана — энергия и авторитет, земная великая мать для инфантилов-стариков, то есть для большинства «лиц мужского пола» новой эпохи. Они не взрослеют и не развиваются индивидуально, так как это предполагает культивирование «тайного небесного огня». Только детям и старикам могут нравиться эминентные женские прелести, как же иначе! убаюкивающий комфорт, услада напряженного пениса, розовый сосок голодным губам, дремотное сочувствие вечно недовольным мыслям. Но это прелюдия. В капризах хохочущей Нана они становятся естественными, теряют неудобную человеческую маску, хрюкают, лают, мяукают, воют...

У мифолога и этнографа Жоржа Дюмезиля есть теория «антропоморфного ответа», которая сводится к следующему: общество человеческое отражает фауну вообще. Черты и выражение лица, походка, привычки, наклонности выдают сущность... тигра, волка, обезьяны, коровы, грызуна...

...Потрясения, катастрофы, эротическая гравитация устраняют человекоподобную «персону» и проступает зверь той или иной породы. Магия тотема, бездна древней ночи.

Нана — одна из богинь сладострастия ассиро-вавилонского ареала, Эмиль Золя интерпретировал миф в современном плане, придав своей героине черты Милитты — греческой богини эротических спектаклей.

Вернемся к фигуре «Парадигмы». Если принять человека за «основание пирамиды света», животное царство послужит «основанием пирамиды тьмы». Нисхождение эйдетической формы человека в «иное» влечет растворение в разнообразии фауны: человек-млекопитающее, высокоразвитая обезьяна и прочее.

Год миновал. Мы пьем среди твоих владений,
Цирцея! — долгий плен.
Мы слушаем полет размерных повторений,
Не зная перемен.

Это стихотворение «Цирцея» французского символиста Шарля Леконта, переведенное Александром Блоком весьма вольно. Цирцея, равно как и Нана, «владычица крови», но при этом Цирцея «повелительница снов» и магических метаморфоз.

Под формой странною скрывая образ пленный,
От чар, как мы, вкусив,
Меж нами кружатся, глядят на нас смиренно
Стада косматых див.

Здесь львы укрощены — над ними благовонный
Волос простерся шелк.
И тигр у ног твоих — послушный и влюбленный,
И леопард, и волк...

Мягкая напевность этих строк убаюкивает конкретный кошмар пребывания на острове Цирцеи. Ее пленники, подобно Луцию в «Метаморфозах» Апулея, остаются в зверином образе:

Для зорких рысьих глаз и для пантеры пестрой
Здесь сон и забытье.
Над ними в сладком сне струит свой запах острый
Любовное питье.

Средоточие женского околдования, Дезирада — легендарная страна роскошного забытья. Только один образ, беспокойный и странный, нарушает очарованный сон:

Где, вспыхнув на конце чешуйчатого стебля,
Родится злой цветок.

Диссонанс в пленительно-затягивающей женственности напрягается в следующей строфе рептильно-жестоко:

В лазурной чешуе, мясистый и колючий
Дракон ползет, клубясь.

Это мужская активизация страшной богини, обещание более зловещих метаморфоз. Однако стихотворение выдержано до конца в медлительной изысканности:

Но даль морей ясна.
Прости, чудесный остров
Для снов иной страны.

Появление дракона — знамение, корабль направляется в Аид. Только благодаря Гермесу, великий герой Одиссей и его спутники избавились от околдования Цирцеи.

* * *

Нисхождение в подлунный «низший мир» убивает небесный фаллический огонь, превращая мужчину в инструмент, механизм, ребенка, зверя. Эрих Фромм сказал на конференции «Дзен и психоанализ»: «Большинство людей блуждает по дорогам жизни, оставаясь симбиотически связанными с матерью, отцом, семьей, расой, государством, общественным статусом, деньгами, богами и т.д. Не желая или не в силах разорвать пуповину, они остаются отчасти рожденными, более или менее живыми.»

Этот мир «более или менее живых» рекламирует себя единственным и весомо реальным, расценивая остальное как фантазии, сны, сказки, шарлатанство досужих бездельников. Ценности мира сего — деньги, красивые женщины, виллы, автомобили — раздобываются «в поте лица». При этом все завидуют богатым наследникам либо талантливым мошенникам и гангстерам.

Посему в почете два стремления: к тяжкому труду и ловкому маневру. Ни то, ни другое с герметикой не связано. Работа и ловкий маневр хороши в магии, хризопее (фабрикация материального золота), если говорить о нестандартных дисциплинах. Христиански ориентированные авторы любят также поговорить о необходимости в подобных трудах бескорыстия, «чистого сердца» и так далее. Прежде всего: герметика не имеет в виду достижения конкретных целей, какие бы средства не использовались — плохие или хорошие, герметика учит игнорации весомости и ценности «лучшего из возможных миров». Это безусловно романтическая дисциплина, если под романтикой понимать не охи

и вздохи, но воспитание воина, инвестигацию качественно необъятных вселенных. Джон Калдер в книге о Джоне Ди: *«В герметике нет ничего секретного и «герметического», вопреки распространенному мнению. Крылатый бог Гермес учит простой свободе, простой открытости»*. Ничего нельзя достигнуть в герметике с комплексом «побега из неволи», неизбежного у всякого впечатлительного человека в жуткой этой современности. Нельзя ласкаться такой мыслью: после тщательного изучения алхимических книг и кропотливой (лабораторной, быть может) работы, я достигну...целей. Во-первых, не забудем слов Мефисто:

Мертва, мой друг, теория любая,
Но вечно расцветает древо жизни...

А во-вторых, нельзя слепо верить в «традицию», «алхимию» и прочее, ведь недолго въехать в архивизм и начетничество.

По многим причинам сейчас нет смысла заниматься физической алхимией, равно как некоторыми другими такого рода науками — алхимия закатилась уже к четырнадцатому веку, ее язык потерян, последующая литература, за редким исключением, совершенно невразумительная смесь из обрывков греческих и арабских классиков, неоплатоников и христианских мистиков, натуральной магии, минералогии, фармацевтики и прикладной химии. Черт его знает, зачем вообще нагромоздили такую гору книг. Не всякая темнота притягательна, не всякая загадка таит разгадку. Один из немногих дельных авторов, Томас Воган, писал в «Свете Евфрата»: *«Убогое это занятие — травить кислотами уже мертвые металлы. Ищите живое золото, живые изумруды, учитесь их языку»*.

Упорный труд, неустанная учеба, фанатическая преданность науке не дают ничего кроме полной катастрофы, поскольку все это истощает силы, уничтожает «тайный огонь», бросает искателя во власть на какое-то время «вытесненной» земной гравитации. Отличный пример — судьба Клода Фролло, алхимика, героя «Собора Парижской Богоматери» Виктора Гюго. Уж на что изумительный эрудит и сосредоточенный исследователь. И надо же в один момент пасть жертвой прелестей цыганки Эсмеральды и погибнуть подло и бесславно. Беспрерывная работа и неутолимое честолюбие сорвали его с центральной оси, которая суть Гестия или очаг «тайного огня» или сестра.

Подобные примеры вовсе не отменяют принципов алхимии, сформулированных Гермесом Трисмегистом, Артефием, Тревизаном, Иринеем Филалетом, напротив: просто надо сообразовать эти принципы с нашим внутренним логосом, нашей «стилистической линией». Прежде всего, необходимо избавиться от гибельной чувственной гравитации великой матери, усиленной рацио ее мужской «агентуры». Направленные на это усилия в определенной степени соответствуют алхимическим операциям calcinatio и separatio, связанным с действием «тайного огня божественной salnitter»(Якоб Беме). Герметик не может приступить к работе «каков он есть», ибо вещество, зная его наизусть, раздавит и проглотит его.

Пока сердце горит здешним пожирающим пламенем, пока мозг насыщается здешними «рефлексиями», не будет ничего. Сердце должно стать солнцем, то есть автономным энергийным центром, а мозг — луной микрокосма. Только тогда оператор почувствует субтильную материальность души, и «низший мир» с его транзитными ценностями, диктатом смерти, ничто, инферно и т.п. займет должное и незначительное место на периферии бытия. Это предварительная задача. Зачем разорять и убивать себя, подобно Клоду Фролло или герою «Поисков абсолюта» Бальзака, пытаясь трансформировать мертвый металл в другой, не менее мертвый, с помощью сверхсекретной тинктуры?

Материя души, ее четыре субтильные элемента — огонь, воздух, вода, земля, в силу действия разновекторных сил, погруженности в низший мир, это хаотический конгломерат, а не «тело» в смысле органической композиции. Такое «тело» рождает квинтэссенция, пробужденная «спиритусом» — небесным фаллическим огнем или «белым сульфуром» — принцем «Спящей красавицы».

Мужская сила «сына матери», спровоцированная женской гравитацией, соответствует «черному, сгораемому сульфуру» (sulfur combustis, sulfur arsenicum). Его наличие обусловливает вечное «сыновство», зависимость от земной женщины. Гармония на этом плане бытия мужского и женского начал (sulfur combustis и mercurius occidentis) — невероятное соединение оппозиций (conjunctio oppositorum). Подобное допустимо в лунной, более высокой, сфере, в

срединном мире, согласно Кузанскому. Там и только там женщина — возлюбленная и сестра (sorror mystica). Там земля не довлеет остальным элементам, разреженная...до плотности густой упругой воды (gummi hermetica), там и следует искать materia prima, драгоценную hyle — она растворяется в фонтане (миф о преследовании Гераклом нимфы Гиле), прорастает сомнамбулической голубой лилией (Новалис. Генрих фон Офтердинген), проступает спящей красавицей на снегу.

Субтильная плоть наших снов, сказок, красок, фантомальных пейзажей это субстанция «тела души». Неоплатоники акцентируют отличие воображения от фантазии. Воображение, равно как рациональное мышление, пассивно и зависимо от физической жизни, отсюда мнение: сон - дериват действительности. Фантазия — «центр ощущений, чувство чувства» (Синезий). Одно дело — в закрытых глазах отражение ранее увиденной женщины, и совсем другое, проявление там неведомой фантомальной...сущности. Поль Валери сказал: *«В пассивной вялой душе внешние раздражители вызывают подневольные чувства. Нет, чувства должны творить свои объекты.»* Это помогает понять природу рассудительного сердца, умного чувства, интеллектуальной души. Новалис интерпретирует ситуацию чувства и мысли: *«Сердцевина чувства — внутренний свет. Активность этого света поднимает созвездия в душе человеческой — мир воспринимается ясней и разнообразней, нежели в границах и плоскостях обычного зрения...Мысль только призрак чувства, умирающее чувство, белесая, слабая жизнь.»* Чувствовать и мыслить — единая жизненная динамика, нельзя сказать: некто руководствуется рассудком, а не чувством. Одни мысли возникают на периферии истощенного чувства, из неуверенности, слабости или самоотрицания чувства, другие продиктованы спокойной жестокостью — «объективная аналитика», к примеру.

«Внутренний свет» — эйдетический огонь автономного чувства, не обязанного рождением никому и ничему. Внутренний свет не имеет оппозиции — тени или тьмы, его «да» не имеет «нет». Без него спящая красавица будет вечной сомнамбулой своего дворца, затерянного в терновнике.

2001

Муравьиный лик

(Якоб Беме о грехопадении)

В советском фильме «Весна на Заречной улице» дурашливый шофер спрашивает у смазливой учительницы: «Что такое ничего и как из него сделать что-то?» Учительница досадливо морщится, не желая общаться с «ничтожеством». Ответить на сей вопрос действительно трудно. Его задали в первом веке новой эры Филону Александрийскому, его задают до сих пор теологам и каббалистам. Действительно, как назвать «то, из чего» Творец создал мир? «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Эти привычные слова беспредельно многозначны: «земля», «пустота», «тьма», «бездна» — в разных языках в разные времена они порождали разные ассоциативные круги.

И это при простом прочтении — понятно, речь не идет о «библии — шифрованном документе».

Ни Филон, ни его ученики не знали, что такое «ничего», «ничто» и как возможно создать нечто ex nihilo. Филон объяснял «Книгу Бытия» согласно стоико-платонической теории эманаций, то есть этапами развития «единого» в «ином». Более того: ни египетская, ни греческая религия не знали таких понятий, как «начало», «конец» и «смерть» в современном смысле. Да и сейчас следует говорить скорее о размытом псевдо-понимании, о мимолетных штампах в потоке сознания. Отсюда глубокий философский кризис. В начале этого века несходные по сути своей мыслители — Шелер, Гуссерль, Хайдеггер, Ортега-и-Гасет — констатировали загадочность элементарных слов и понятий, затертых обыденной философской комбинаторикой. У Ортеги-и-Гасета, к примеру, часто встречаются такого рода выражения: «Странно, что на это никто до сих пор не обратил внимания...» или: «Мы все не знаем элементарных вещей...»

Подобное удивление побудило Наторпа, Вернана и В. Ф. Отто вообще усомниться в нашей возможности понимать не то что досократиков, но Платона и Аристотеля. Сейчас можно только гадать о языческом восприятии слово-предмето-универсума. Иудеохристианская доктрина идеи «начала», «конца», «смерти», «спасения» и т.д. — вызывала полное недоумение в первые века. «Сперматический логос» стоиков, «фанес-фанетия» орфиков, «первоединое» неоплатоников не имеют начала и конца и проявляются лишь в «ином». Точно так же дело обстоит в небесных сферах и в постепенной иерархии стихий. Даже в подлунном мире «начало», «конец», «рождение», «смерть» вовсе не гвозди, вокруг которых разум свивает свою паутину, но, скорее, зыбкие, темные блики, пункты метаморфоз.

Нет, теория эманаций вносит изрядную путаницу в трактовку Библии. Господь Бог, создавая вселенское органическое целое, хитроумно вконструировал туда некую механику, препятствующую плавной эксцентрации и концентрации эманаций. Иначе теряет смысл проблема первородного греха, которая не давала покоя Филону, а затем Пелагию и Оригену. Появление в живом организме «лишних деталей» (наивность подобных суждений подразумевается) под названием «древо познания», «змей» привело к своеобразной амбивалентности, к возможности разделения (diabolo), к возможности «падения» — то есть превалированию одного направления — от центра, что невероятно в теории сферических эманаций, где возможна любая ориентация.

Итак, «начало» предусматривает предварительное гипотетическое «ничто», «начальный» процесс набирает силу и скорость под прямым или косвенным воздействием «катализатора распада» и в результате приближается к «концу», к полной аннигиляции. Этот «катализатор распада» — дьявол, средоточие так называемого зла. Сотворенный мир все более тяготеет к плотности, сгущению, неподвижности, тьме и, достигнув критической точки, получает шанс к распылению в практическое «ничто».

Это весьма уникальная космогония, непохожая на другие. Творцы других космогоний всегда имеют дело с каким-то материалом — будь то тела прародителей, стихии, первичный хаос. Миры создаются эротикой, вивисекцией, агрессивным разумом, но в любом случае демиургу противостоит «нечто». Разница очевидна. При всей своей отчужденности демиург имманентен своему материалу, созданный мир так или иначе уязвим и преходящ, поскольку демиург и его мир пребывают в разнообразных связях с другими генетическими и космическими данностями. Если бы библейский Творец «организовал» свою вселенную, выделив ее из хаоса, то первородный грех лишился бы катастрофической весомости — сатану всегда можно расценить как агента враждебного окружения.

Но исключительность иудеохристианского космотворения обусловлена первичным «ничто». Внешних врагов нет: всякая сущность — тварь, творение Божье, всякий поступок необходимо ориентированы согласно замыслам Творца. Если политеизм вполне допускает эмоциональную полихроматическую гамму и широкое толкование действия, то в мире Творца господствует мажоро-минор: повиновение-бунт, верность-измена, взлет-падение, добро-зло. Подобная категоричность совершенно чужда языческим воззрениям: «*Парадигмы зла не существует,* — писал Плотин, — *зло — результат нужды, лишенности, дефекта. Злом следует назвать страсти материи, лишенной формы*»[1]. Согласно Пло-

тину, структура, мобильно формализуясь, вполне способна преодолеть ситуацию зла. Греческая мысль, кстати говоря, никогда не занималась изучением материи в современном плане, и нелепо искать среди греческих философов каких-то «материалистов». «Атомы» Эпикура или Демокрита есть попытка очень осторожной формализации (логического освоения) принципиально чуждой территории. Материя полагалась чем-то косным, давящим, разъедающим, изучать ее следовало ограниченно и соразмерно, дабы изучающее (разум) не растворилось в изучаемом. Здесь понятен примат идеи-формы над материей, что совсем не очевидно в библии: «В начале сотворил Бог небо и землю». Перед «ничто», перед «началом» небо и земля равны, форма и материя соответственно. Подобное «равенство» необходимо для вселенской гармонии. В мире надо жить, а не познавать, поскольку познание, цепляющее объекты крюком вопросительного знака, разрушительно по сути своей. Для языческой философии «зло» не обладает никакой реальностью, это «временное уменьшение добра», проблематичность утверждения эйдетической формы в материи. В библии совершенно иначе: зло обретает реальную субстанциальность в силу мятежа высокой эйдетической формы — Люцифера. В результате — беспрерывное «падение», драматизированное христианской мистикой.

Интерпретация этого падения весьма суггестивна у Якоба Беме. Адам не «падший ангел», но, скорее, «падающий», и Творец всячески тормозит процесс, стараясь воспрепятствовать заразительному люциферизму. Адам обретается постепенно — от действенной мысли Бога до интеллигибельного эмпирея, от планетных сфер до лунного квинтэссенциального круга. Здесь он еще в «эфирном» теле, но здесь предел небесного мира. При дальнейшем падении неизбежно растворение в «черной пневме», образующей демонические флюиды. Творец, во избежание сего, фиксирует падающего в «красной глине» по своему образу и подобию. Представить «внешность» Адама, понятно, невозможно, хотя Беме, Гихтель и Кнорр фон Розенрот набрасывают более или менее остроумные гипотезы. Далее наступает один из центральных моментов — сон, разделение андрогина и начало радикальной амбивалентности: «Его небесное тело оделось в плоть и

кровь, его сила затвердела костями... Вечность сменилась временем дня и ночи, и проснулся Адам в мире внешнем»[2]. Во сне «небесная дева», заключенная в Адаме, отделилась и облеклась в «белую глину» (дева — первое имя Евы), свет отделился от огня, жизнь от смерти, душа от тела. Понятно, все это разъединилось не математически. Поскольку создание Евы явилось еще одним препятствием «свободного» падения («нехорошо человеку быть одному»), то в телах сохранилась связующая андрогинная субстанция.

Образовались два существа — «златокудрая Ева» и «черноволосый Адам», напоминающие детей до пубертации. Но не миновать было змея и древа познания. И здесь Беме, вслед за Генрихом Сузо и Агриппой Неттесгеймом, высказывает очень неортодоксальную мысль о жертвенности Евы в мистерии грехопадения: *«Если бы Адам прежде Евы вкусил от плода древа познания, последствия стали бы еще ужаснее»*[3]. Как это понимать? Ева, созданная «из ребра, которое еще не окончательно окостенело», и «белой глины», обладала, естественно, более субтильной плотью и более тонкой интуицией — отделение жизни от смерти повлекло отделение квинтэссенции от четырех элементов, света от огня, тепла от холода, интуиции от разума. Более органическая структура позволила Еве менее катастрофически пережить вкус плода древа познания. И все же: *«Если бы Творец создал человека для этой земной, больной, животной жизни, он не поместил бы его в парадиз. Если бы Творец решил, что мужчина и женщина будут спариваться подобно животным, Он снабдил бы их гениталиями»*[4]. Отсюда, согласно Беме, ужас и стыд первых людей, когда они увидели действие черной пневмы рокового плода, ощутили потребность в пище и зависимость от внешних условий. Менее совершенная конституция Адама претерпела жестокое воздействие: кусок плода навсегда застрял в горле (адамово яблоко), вследствие чего появились борода, волосы на теле, огрубелость кожи и прочие неприятности, главная из которых — невозможность регуляции организма путем месячных очищений (о мужских менструациях хорошо известно йогам и дао сам, алхимики упоминают об этом в связи с достижением лунной стадии опуса). Ева, так сказать, смягчила удар: *«Если бы Адам съел плод целиком, он превратился бы в свирепую обезьяну, а затем в демона»*[5].

Итак, жертвенная роль Евы очевидна: она предпочла тяготы телесной материальности, только бы остановить падение Адама в животно-инфернальную бездну. Конечно, у нее не было выбора — впрочем, можно сколько угодно фантазировать на эту тему.

После изгнания Адам и Ева очутились в материальном мире, который «повис между небом и адом». Этот мир, считает Беме, также явился преградой на вертикали падения, но, увы, далеко не абсолютной преградой. Да, человек оказался в центре мироздания, но в позиции крайне беспокойной. Черная пневма Люцифера, проникшая в душу (что и послужило причиной падения), проходя через материальные стихии, сконцентрировалась sal nitri — согласно Парацельсу и Беме, «горючий сульфур», сгущенный средоточием звериной плоти. Божественный свет превратился в огонь пожирающий.

Facilis descensus Averni,
Noctes atque dies partet atri janua Ditis —
Sed revocare gradum superasque evadere ad auras,
Hoc opus, hic labor est.

Легко спуститься в ад,
ночью и днем раскрыты двери царства мертвых.
Но вернуться по собственным следам к дневному
ветерку — тяжкое испытание.

В словах Кумской сивиллы (шестая эклога «Энеиды») нет все же безнадежности: трудно, однако возможно. Ветхий Завет не внушает ни малейшего оптимизма. Андрогин распался надвое (Адам и Ева), двое размножились в народ — как вернуться по собственным следам? В раю был всего лишь один запрет, теперь их стало много, направленных скорее на социальное обустройство, нежели на эволюцию индивида. Ад, рай, суд, судьба души после смерти — все это вызывало споры, отрицания, обсуждения от ребби бен Заккаи до ибн Габироля, но главным образом иудаизм занимался утверждением народа на должном, избранном месте. Катастрофическое падение Адама и постепенная утрата небесных атрибутов гораздо больше интересовала каббалистов и христианских мистиков. *«Сотворение Евы,* — пишет Якоб Беме, — *вызвало сепарацию от сперматического*

логоса — эфирной эссенциальности, связующей Адама с миром ангелов»[6]. Жан Батист Ван Гельмонт конкретизирует процесс: *«Творец сотворил гениталии Адама из плоти углубления Евы. Потому и стремится мужчина к женщине, как река к морю»*[7]. В мистической литературе XVI-XVII веков сколько угодно описаний самых разных последствий грехопадения, авторов объединяет лишь одно: крайне мрачный колорит. Беме так характеризует ситуацию: *«Если бы не было грехопадения, человек — живой образ Бога, наделенный творящей силой — мог бы создавать равных себе один, вне иного пола»*[8]. Но вместо «если бы» случилось то, что случилось, и положение изменилось радикально: не женщина от мужчины, но мужчина от женщины.

Проследим далее развитие христоцентрической мысли Беме. За сотворением Евы и грехопадением последовали постепенное отделение неба от земли, творческой мысли от одушевленной материи, общая инволюция природы, обусловленная сатанинской амбивалентностью: *«Перед падением в парадизе расцветали все деревья и приносили добрые плоды. Но когда земля была проклята, плоды разделились на добрые и злые. Прежде смерть и гниение гнездились в одном дереве — древе добра и зла, потом расползлись повсюду»*[9].

Итак, благодаря более гармонической организации Ева приблизилась к центру подлунного мира и явилась «матерью всего живого». Адам, как средоточие мужского принципа, с каждым поколением терял свои креативные и магические возможности, его «огонь» остывал, его «сыновняя» зависимость все усиливалась. Если Ева опускалась в материальную сферу, так сказать, спиралевидно, то Адам — вертикально. Символ Евы — круг без центральной точки (круг с точкой — символ андрогина), символ Адама — крест, где горизонталь обозначает уровень манифестации.

Каковы последствия сепарации от сперматического логоса, «небесной кастрации» Адама? Он потерял способность творческой материализации своих внутренних эйдетических форм, его «фантазия» — средоточие креативной энергии, — превратилась в простое «воображение». Как это понять? Ранее (после изгнания из рая до рождения первых детей) его фантазия существенно

влияла на окружающие объекты, затем эти объекты стали отражаться в зеркале воображения. «Существенно влиять» означает жить в живом мире, понимать душу и язык минералов, растений, зверей и, вступая с ними в магический контакт, сохранять органическую связь бытия. Но за сепарацией от сперматического логоса последовала сепарация души от сердца, а сердца от мозга и гениталий. *«Свет души соединялся с огнем в крови сердца, и когда свет разлучился с огнем, тело осталось беззащитным»*[10]. Это значит: сердце продолжало питать кровью организм, но прекратило его «освещать». Представим, что солнце лишь согревает землю, но не озаряет. Это значит: в системе микрокосма мозг перестал озаряться светом сердца (интеллектуальной интуицией) и принялся впитывать отражения внешнего мира.

Человек медленно и верно втянулся в окружающее, корректируя свои мысли и чувства в зависимости от акций и реакций окружения. Он постепенно стал привыкать к чуждости реального, к невозможности изменить положение дел: камень тверд, тигр свиреп, белена ядовита — необходимо считаться со всем этим.

Солнечный свет стал проникать опосредованно, в интерпретации луны. Это привело к пагубным последствиям: полной или частичной утрате интеллектуальной эрудиции, полной или частичной утрате свободы выбора. Результат: подмена активного, живого восприятия пассивным, все более тяготеющим к массовой однородности, разрыв единства интеллектуально-эмоциональной сферы. Вот что писал алхимик Иоахим Полеман (XVII в.): *«Субстанция лунного неба, обволакивающая землю, пориста, податлива, беременеет при любом прикосновении и порождает призрачные силуэты и очертания вещей. Это в точности субстанция нашего мозга»*[11].

В комментариях талмудистов ситуация Адама (не падающего ангела мистицизма, но сотворенного человека) тоже довольно безрадостна. Вкусив плода, неловкий Адам проглотил зерно, которое выросло пенисом — «аггелом сатаны». С тех пор «аггел избивает его кулаками» и только женщине дана власть укрощения. Бахья бен Иосиф (XI в.) говорит следующее: *«Не слушайте гоимов необрезанных, женщина — величайшее творение Божие. Творец*

создал ее с любовью в день отдохновения. Без женщины что было бы с мужчинами, кои носят на теле аггела сатаны!»[12]. Здесь таится один из аргументов ритуала обрезания — когда-то ритуал свершался весьма сложно при своеобразном толковании библейской фразы касательно «поражения главы змия семенем жены». Талмудисты, караиты, каббалисты, при всей разности прочтения пятикнижия, сходятся в признании кардинальной роли женского начала[13]. Здесь одно из серьезных отличий иудаизма от христианства. Христиане относятся к женскому полу нервно и недоверчиво. Они склонны обвинять женщину в катастрофе грехопадения и в более чем теплых отношениях с дьяволом, — инквизиция — веское тому доказательство.

Женщина действительно благо одарена природой и на многое способна, хотя в результате общей инволюции растеряла свои преимущества. Последнее относится, в основном, к женщинам цивилизованным. О женщинах примитивных народов этнографы порассказали массу удивительного — только в мифах и сказках можно подобное разыскать. Женщины африканских племен сатойо и короманти, к примеру, беременеют, когда хотят, причем не только от мужчин, но от змей, зверей, лесных и речных духов, от культового деревянного фаллоса, от подруги-лесбиянки, так как, натертый травой «дукаму», клитор превращается в пенис...[14]. Такого рода явления этнографы, в частности Бронислав Малиновский и Мирча Элиаде, объясняют так: в женской субстанции скрыт активный центростремительный огонь, притягивающий не только мужчин, но и любые природные объекты, в том числе и потусторонние сущности. Женщина способна магически управлять интенсивностью этого огня. Мужчина (обычный, постоянно растрачивающий свой «центробежный» огонь) в эротической женской области только возбудитель внутренней динамики, подобно плугу для земли, причем возбудитель пассивный, спровоцированный женским притяжением. «Центростремительный» огонь скрыт во многих минералах и деревьях. Коитус аналогичен извлечению огня трением двух кусков дерева, причем огонь вспыхивает в «женском» дереве[15].

В судебных отчетах инквизиторских трибуналов и в книгах по демонологии описывается много схожих

случаев — авторы, конечно, относят все это на счет «дьявольских чудес», а не изначального женского могущества, о чем свидетельствует тон изложения: «Мы видели, как у младенца, сосущего грудь, увеличивалась его крохотная мужская плоть. У девушки, просидевшей более года в одиноком застенке, родился мохнатый козлоногий ребенок. Мы видели, как в полнолуние дети и старики стояли на коленях у дверей молодой ведьмы, домогаясь ее нечистых объятий, и умирали от мучительного вожделения»[16].

Значит ли это, что мужчина — раб, игрушка, инструмент в знающих женских руках? Очевидно, так, даже если мужчина — Дон Жуан или агрессивный отец первобытного племени, как полагает Эрих Нойманн, последователь Юнга, в работе «История происхождения сознания». Этот момент распознается в женском подсознании, что доказывают сочинения современных феминисток: «Любая патриархальная идеология ставит законы природы с ног на голову. О солнечном герое остались только легенды. У обычного мужчины нет самостоятельного существования, он — инструмент великой матери, фрагмент женщины, как месяц новолуния или ущерба — фрагмент луны»[17].

Если убрать нарочитый эпатаж, в процитированном отрывке просто утверждается идея натурального «сыновства» — не женщина от мужчины, но мужчина от женщины, лунус от луны. В иудейском варианте, где подчеркивается трансцендентность Творца по отношению к современному миру, падение Адама обрекло мужчину на подневольность в замкнутой подлунной природе. Иудеи, вообще говоря, не столь катастрофически переживают грехопадение и склонны винить не праматерь Еву, но кровожадную и демоническую Лилит, да и то концепция последней относится скорее, к еврейскому мистицизму.

Идея автономного мужского начала имеет смысл только в религиозных и мистических доктринах, отрицающих «смерть» и «ничто» и трактующих человеческую жизнь либо как подготовку к жизни высшей, либо как несколько шагов на пути естественных или искусственных трансформаций. В этом плане мужчина — герой и его первая проблема — преодолеть гибельное притяжение гинекократического мира, которому он мешает, которому он попросту ненавистен. Готфрид Бенн писал в эссе «Паллада»: «*Представители умирающего пола, пригодные лишь в качестве соооткрывателей дверей рождения... Они пытаются завоевать автономию своими системами, негативными или противоречивыми иллюзиями — -все эти ламы, будды, божественные короли, святые и спасители, которые в реальности не спасли никого и ничего, все эти трагические, одинокие мужчины, чуждые вещественности, глухие к тайному зову матери-земли, угрюмые путники... В социально высоко организованном государстве, в государстве жесткокрылых, где все нормально кончается спариванием, их ненавидят и терпят только до поры до времени*»[18].

Но этих «трагических, одиноких мужчин», утверждающих сверхбытийную автономию, становится все меньше — ненавидящий сострадание Ницше сам вызывал сострадание, а современный «всемирный успех» обеспечили ему «последние люди», коих он столь презирал.

И если манифестированный мир, по мнению Беме, явился неким «тормозом», то постепенное вырождение мужчины в «свирепую обезьяну» или демона совпадает именно с постепенным уничтожением этого мира — что такое современная технология, как не демония, что такое экологическое бедствие, как не распад когда-то герметичного мироздания. Все происходит так, словно теофании Христа никогда и не случалось.

* * *

Вернее сказать, теофания этого загадочного бога была разрекламирована в целях, совершенно непонятных сейчас. Здесь непонятно все: Евангелья, признанные или апокрифические, христианский гнозис, связь Нового и Ветхого Завета. Тематический диапазон Христа настолько широк, что кажется, будто в нем собраны качества и функции самых разных божеств — от жертвенных богов плодородия до греческих и малоазиатских архонтов, эонов, космократоров. К тому же это Бог любви и милосердия, но... не мир, но меч... Фома Аквинский поясняет: «не мир» следует понимать как отрицание «покоя», «меч» — как путь по лезвию в царствие небесное. Возможно. Однако существует масса иных толкований, ибо каждая вечная книга имеет, безусловно, много уровней понимания. И все же для религиозного документа уровень простого понимания необходим. И здесь дела обстоят не блестяще: Евангелье ни в коем случае нельзя расценивать как духов-

но-этический путеводитель, нельзя «жить по Евангелию», даже если и так и сяк пытаться адаптировать евангельские афоризмы и притчи к повседневной жизни. Собственно говоря, такой задачи и не ставилось — царство мое не от мира сего... Гораздо лучше к повседневности применимы ветхозаветные заповеди, но...

Но создается впечатление, что Новый Завет нарочито и весьма искусственно притянут к Ветхому. Во-первых, Бог-Креатор, отчужденный от собственной креации, мало сообразуется с идеей Бога-Отца, во-вторых, в иудейской ортодоксии не разработана структура небесной иерархии — в христианстве подобная структура изложена в смысле сугубо неоплатоническом. Аналогичное можно сказать и о никейской триаде — она вполне легитимна в стиле Прокла и Дамаскина, но ведет к бесконечным «тринитарным спорам», когда речь заходит о библейском соответствии. *«Сама по себе мысль, что у Бога есть какой-то сын, рожденный от смертной женщины и распятый на кресте, нелепа и обсуждению не подлежит»*, — писал Ханан бен Давид (VIII в.)[19]. Мы, понятно, не собираемся входить в лабиринт иудеохристианских оппозиций, а хотим лишь подчеркнуть несколько библейских моментов, акцентированных христианством.

Мы упоминали, что для иудеев грехопадение Адама и Евы считалось куда менее серьезной катастрофой, чем, к примеру, ситуация перед потопом или гнев Божий после сотворения золотого тельца. Идея строгого единобожия требовала, прежде всего, послушания, соблюдения заповедей, подробно интерпретированных в Галахе. Иудаизм — религия, ставящая интересы коллектива выше личных. Это религия народа, не знающего сословных ступенек и признающего лидером только своего Творца. Поэтому иудеи не слишком озабочены личной судьбой в потустороннем мире, если таковой даже существует (что весьма спорно), поскольку, как сказал Маймонид, «... разуму человеческому бесполезно рассеиваться в бездне этой проблемы»[20].

Христианство — иное дело. Христос пришел к людям вообще, следовательно, к любому человеку. Кроме своих божественных прерогатив, Он еще и «новый Адам». Отсюда столь пристальное внимание к трагедии Адама и Евы и к виновнику трагедии — сатане. Христос — Спаситель, и данная функция не имеет ни малейшего отношения к мессии в иудейском понимании. Иудейский мессия призван утвердить избранный народ на должном центральном месте, привести к счастью и процветанию здесь, на земле, — задача мессии сугубо хилиастическая. Но Христос, хотя и призывает иной раз к имущественной усредненности — что и получилось бы, коли богатые поделились с бедными, — вовсе не певец равнодольных благополучий. «Отдать» богатому надо прежде всего, чтобы стать субъектом свободным. Свободным для чего? И здесь начинается театр теней. Если иудаизм спокойно делится на внешнюю, обрядовую, популярную религию, сложную теологию и еще более сложную мистическую сердцевину, то касательно христианства это сомнительно. Глобальные утверждения здесь приводят к странным несообразностям. Если Христос мученической смертью искупил грехи человеческие (считается, что впервые эту мысль высказал Сатурнин — гностик в третьем веке), то каких выводов надобно придерживаться? Феномен христианства вызывает десятки, сотни такого рода вопросов; наличие нескольких весьма враждебных друг другу конфессий и многочисленных ересей отнюдь не убеждает в их благополучном разрешении. Многое, очень многое склоняет к следующей идее: христианству нечего делать в этом сотворенном, замкнутом мире, где живут один раз, пытаясь максимально комфортно расположиться между двух «ничто», христианство — жестокий мистический путь, ведущий в трансцендентальный континуум. Что Христос путь, — это бесспорно, что Христос истина и жизнь — в этом убеждаются лишь инициатически немногие избранные, в том числе и Якоб Беме: *«Крест с пригвожденным, умирающим человеком есть символ инициации, регенерации. Это напоминает верному последователю Христа, что ему надо пройти мистическую смерть и родиться в духе, прежде чем почувствовать славу вечной жизни. Крест представляет земную жизнь, терновый венец — страдания души в материальном теле, но также и торжество духа над материальной тьмой. Обнаженность тела на кресте означает, что неофит должен освободиться от страстей земных. Пригвожденность — отказ от самостоятельной воли или умственного упрямства и капитуляция перед*

властью божественной. Над головой написаны буквы: I.N.R.J. — их следует читать приблизительно так: In Nobis Regnat Jesus (В нашей глубине царит Иисус). Но подлинное значение этой надписи известно лишь тем, кто действительно умер для мира желаний и поднялся над искушениями персонального бытия, иными словами, тем, кто ожил во Христе и кому Царство Иисусово озарилось лучами сердца Божьего»[21]

Упомянутую «надпись» можно читать десятком способов, и подлинное значение известно лишь посвященным. Это не «христианский эзотеризм», ибо христианство насквозь эзотерично. Меандров и тупиков здесь более чем достаточно. Допустим, «отец небесный» и есть — Творец. Что из этого следует? Христос отрицает сотворенный мир и освященное Творцом трудолюбие, обращаясь, в основном, к детям, нищим, грешникам, то есть к людям, которые не успели приобщиться «страстям земным» или не преуспели в оных. Христос призывает любить ближнего, но на вопрос, кого считать таковым, отвечает притчей о путнике, ограбленном разбойниками. Ограбленном, следовательно, нищем. Христос говорит о Царствии Небесном, но что это? Трансцендентные обиталища ангелических иерархий, скорей всего, то самое место, где началось падение Адама в сотворенный мир материализации и раздвоения, согласно мысли Беме. Значит ли это, что Беме отрицает «сотворенность небес»? Позиция Беме, равно как и многих еврейских и христианских мистиков, достаточно сложна. Не отрицая, вслед за Парацельсом, эманацию живого света (lumen natura) от Творца, Беме предполагает автономные, качественно бесконечные миры, порождаемые жизнью такого света, и вояж «освобожденного тела души» (охема) в такие миры. Так. Но «душа», децентрализованная, рассеянная множеством параметров, должна еще обрести подобное «тело», то есть сокрытое семя (semina) должно найти подходящую «землю» (materia prima anima). Майстер Экхарт следующим образом толкует христианское положение о «нищете»: *«Пока материя имеет в себе нечто от себя, например, актуальность своеобразия ранних форм, она не представляет еще чистой потенции (pura potentia) и не может воспринять эссенциальную форму»*[22]. Что это за форма? Скрытая в сердце, в центре материи, неизвестная substantialis forma latens — субстанциальная форма. В интерпретации Беме это вечная ангелическая суть, остающаяся в человеке, несмотря на деградацию Адама. Но эта forma latens, эта искра Духа, стремясь в свое небесное отечество, постоянно возбуждает беспокойство, вносит смуту в человеческую композицию, кое-как устроенную тем или иным эпохальным распорядком. Если композиция сия не организуется силами внутреннего центра, если ее конструируют культурно-экономический уровень эпохи, мнения, моды, обычаи, нравы, система поощрений и наказаний и т.п., то она либо структурно меняется в зависимости от внешних перемен, либо распадается в психо-соматическом хаосе. Эта психо-соматика, согласно Парацельсу, состоит из восьми элементов: четырех психических (patres) и четырех материальных (matrices). Их сложный и непредсказуемый динамизм ориентирован двояко: воспитание, стандарт, репрессии, распорядок; религиозная инициация. В первом случае человек — одна из материальных частиц коллектива и к нему относятся, так сказать, агрикультурно — «землю» надо освободить от сорняков, удобрить, выровнять, посеять семена полезных добродетелей и специальностей. Даже в эпоху сословий еще интересовались качеством этой земли (то есть, какого роду-племени человек). Религия здесь сводится к религиозной истории и моральной догматике.

Эта «обработанная» земля и «культивированная» материя не дает ни малейшей возможности нормальной активизации substantialis forma latens — скрытой субстанциальной формы. Эта «искра Духа», «загадочная форма» дезориентирует «человека материального» и, несмотря на скепсис сознания, отравляет душу ядовитыми романтическими грезами. Сказать «да» этой форме и способствовать ее развитию — значит сказать «да» абсолютному риску. Первые шаги ясны — они указуют путь к целенаправленной духовно-материальной «нищете», освобождению от «актуальности ранних форм». Допустим. Но что делать дальше, каковы гарантии[23]? Скрытая субстанциальная форма не имеет качеств. Известно, какое значение придает Беме данному понятию. «Качество» у него — источник категорической проявленности, «качество» (Qualitat) происходит от Quelle (фонтан, источник), но также и от Quahl (мучение, страдание). Неудержимость «качества» сдержи-

вается той или иной долей страдания — отсюда возможность манифестации вообще. Отсюда и положение Беме о первичности утверждения и вторичности отрицания: «Возникает «нет», когда желание отступает и рассыпается в негативности. «Да» есть эманация вечной воли и основа вещей. Сначала «да», потом «нет», ибо «нет» возникает в рецепции и усвоении»[24]. Такое «да» активно, поскольку рождается избытком спонтанного желания, такое «нет» реактивно[25]. Откуда берется это ничем не обусловленное «да»? Из скрытой субстанциальной формы, которая есть «безосновность» (Ungrund). К этой необусловленности, бескачественности, безосновности и апеллирует Христос, поскольку зародыш тайного огня может дать росток и раскрыться гипотетическим бутоном.

* * *

Мысль Якоба Беме в крайней степени христоцентрична, ибо вне Христа он не видит ни малейшего шанса ни для мира, ни для человека. Означает ли это известную ограниченность? Нет, поскольку Беме, хорошо знакомый с платонизмом, каббалой и гнозисом, далек от какой-либо ортодоксии. Разумеется, он, в отличие от гностиков, не верит, что творение мира — дело злого демиурга или результат деградации Божества. Для Беме этот мир призван в той или иной мере «затормозить» падение Адама в демонический хаос. В общей концепции нетрудно заметить неоплатоническую схему: отпадение от первоединого (Бога-Творца в данном случае), раздвоение на мужчину и женщину, раздвоение душевное (добро и зло), утрата квинтэссенциальной гармонической связи, размножение, раздробление, растворение в «ином». К этой же схеме относятся распад интеллектуальной интуиции на «чутье» и математическое мышление; обособленность от остальной природы; замена спонтанности решений, то есть первичности «да», на бесконечное высчитывание «за» и «против» — то, что Хайдеггер назвал Besorgnis — «озабоченностью».

Для языческих неоплатоников отпадение от «единого» и переход в «иное» — не катастрофа: в постоянных метаморфозах бытия возникнут новые боги, новые герои, новые люди. Иное дело — неоплатонизм христианский и его монотеистический режим, где земной мир зажат между жизнью и смертью, небом и адом. Перед концом времен, перед огненным потопом явился Спаситель; неслыханная теофания, доступная десяткам восторженных либо скептических интерпретаций. Действительно, божество совершенно уникальное: центральное лицо троицы, трон над эмпиреем, все уровни мыслимого бытия, истязание человеческой плоти на Голгофе. От логоса-космократора до «второго» или «нового» Адама, рожденного земной женщиной. Радиус: от центра до крайней периферии. Скудный разум человеческий мало что может понимать в богах, но здесь непонимание переходит любые границы. Поэтому каждый теолог или мистик занимается той или иной областью христологии. Беме акцентирует человеческое воплощение Христа, его ситуацию «нового Адама». Христианство — в высокой степени доктрина эсхатологическая. Нельзя забывать, что ожидание «конца света» стало перманентным начиная с первого века новой эры. Надо полагать, падение потомков Адама достигло «критической точки» и сотворенный земной мир уже не мог сдерживать вторжения хаоса, буйства стихийных элементов. В языческом неоплатонизме это отрыв от «первоединого», безнадежное погружение в бездну сновидений — новый демиург организует уже совершенно иной мир, не заботясь о спасении предыдущего. Христианство полагает, что благодаря теофании Спасителя подобной катастрофы удалось избежать.

Здесь любопытен момент исторического воплощения Христа. Языческие боги легко и просто могли принять человеческий облик, но, понятно, ни о каком «воплощении» говорить нельзя. Равным образом, нельзя считать Христа героем — плодом эротического соединения двух ипостасей — божественной и человеческой. Герои, аватары легитимны в мифологии вечных возвращений и вселенских циклов, где так называемая смерть — только пребывание в ночи, в забытьи, в материнской утробе. Иное дело — иудеохристианская безвозвратная гибель с последующими адскими пытками и финальным растворением души в черном кислотном озере, которое, согласно Ансельму Кентерберийскому, образует мыслимое дно инферно. Дихотомия жизни и смерти, мажора и минора обострена здесь до крайности. Отсюда уникальность миссии Христа, ужасающе серьезный характер христианства и весьма сложный процесс инкарнации, напоминающий образование жемчужины в

некоторых практически закрытых раковинах-жемчужницах. По легенде, жемчужина зарождается, когда на раковину падает отблеск молнии либо капля росы. Мифологически девственница связана с водой, морем, луной, она суть изменчивость, прихотливость, летучесть колорита, мужчина ее «фиксирует», придавая устойчивость, разрывая тайну. Иное дело — дева Мария, которая остается девой и после рождения Христа: неуловимая и таинственная, в Евангельях она проходит почти незаметно, она — раковина, мандорла, морская звезда, вечный парадокс materia prima. Для гностиков и Беме дева Мария — отражение Софии в манифестированном мире, благодаря Софии Бог-Слово обретает квинтэссенциальное тело. Но кто такая София, что это? Если для Беме Бог-Отец — молчание, то София — напряженное, беременное Словом молчание. Или иначе: *«София — это образ Бога, которым и в котором «безосновность» (Ungrund) познает себя самое, это сфера божественного восприятия, где мир дифференцируется»*[26]. От сложной трансцендентности понимание Софии распространяется в не менее сложную образность: *«София — ветвь жемчужного древа парадиза», средоточие небесной первоматерии. Христос жемчужиной плывет, спускаясь в нижние слои бытия, и попадает в «раковину» — деву Марию. София сопровождает Христа, как сияние — жемчужину, ибо София — тинктура света»*[27].

Мы упоминали, что разделение Адама на мужчину и женщину вызвало отделение света от огня. Это означало среди прочего отдаление чувства от мысли, спонтанности от длительности, эмоционального жара от милосердия, рациональной мысли от вдохновения, упорства в достижении цели от размышления о сущности этой цели, эротики от любви и т.д. Распад андрогина — совершенного и гармоничного — безнадежная катастрофа, так как ни конструктивная мысль, ни магия не способны воссоздать целое. Мужское и женское начало в своей противоположной ориентации могут образовать монстров — гинандров, гипоспадеев, мужчин-баб или мужиковатых женщин. Изысканность подобных сочетаний достигается лишь художественным усилием, то есть в мире более субтильном.

Бог воплотился совершенным человеком, ясное дело. Но это означает, что люди, предоставленные себе, уже не в силах остановить дальнейшего падения. Новый или второй Адам явился андрогином — соединением «тинктуры огня» (Христос) и «тинктуры света» (София). Это приводит нас к специфически христианской алхимии, весьма отличной от других направлений этого искусства.

Но даже эта специфическая алхимия весьма разнообразна. Мы постараемся выделить мистическую алхимию Беме и его последователей на фоне иных вариантов. В круг интересов этих людей, похоже, не входила «философская алхимия», то есть конкретные операции с какими-либо минералами, металлами, кислотами и т.д.[28] И несмотря на вполне вероятную практику аскезы, технику дыхания и концентрации, мистическую алхимию ни в коем случае нельзя назвать «западной йогой». Процитируем, к примеру, Иоганна Гихтеля касательно albedo (опуса в белом) — реального алхимического достижения: *«Эта регенерация дает нам не только новую душу, но и новое тело, которое возникает от божественного Слова и небесной Софии. Оно родственно лучам солнца, что проходят сквозь любую вещь, и отличается от материального тела, как солнце от темной земли. И хотя новое тело пребывает в прежнем, это прежнее может лишь изредка почувствовать его»*[29]. В этом весьма трудном тексте любопытна ситуация материального или «прежнего» тела. Оно, в материальности своей, никак особо не участвует в процессе создания «охемы» (новое тело новой души). В отличие от других мистических учений, здесь не учитывается энергия земного тела, но при этом вовсе не требуется его аскетически «умерщвлять». Речь идет, скорее, о весьма деликатном освобождении — это и называется «регенерацией». Как сказано в «Изумрудной Таблице» Трисмегиста, *«Ты отделишь тонкое от грубого осторожно и очень искусно»*.

«Охема» или «эфирное тело» образуется из четырех элементов души, доныне разрозненно-беспорядочных, под возможным действием квинтэссенции — в данном случае небесной девы Софии. Операция крайне сложна, ибо энергия нечистого огня (sulfur combustabile) может спровоцировать ведущий к безумию хаос душевных элементов. Подобная система, вообще говоря, была хорошо известна в первые века неоплатоникам и гностикам, только роль небесной девы играла Идея, Энойя или Барбело. И все же разница с позицией Беме и Гихтеля весьма существенна.

Христианские гностики, как правило обращенные язычники, ни в коем роде не желали ограничить Христа ситуацией богочеловека и второго Адама. В классической «Пистис Софии» об этом вообще ни слова, равно как в «Теологуменах» Иринея. В гностической необъятной христологии проступает и пропадает в рассветном тумане призрачный Йошуа Га-Ноцри, сражается с враждебными архонтами эон Ялдаваоф, рассеивает божественную сперму Ихтиос — космократор, действуют или бездействуют иные теоморфические сущности, но нет и намека на евангелического Христа, искупителя первородного греха. Да и какие там грехи! В первично-злом мире страшного демиурга Иеговы любой грех добродетелен в принципе, потому что проявляет активность «динамиса» — внутренней силы сопротивления гибельным кольцам мирового змея — Иеговы-Пифона. Согласно Иринею, «*... София, насыщенная божественным Светом, вибрируя меж небом и землей, рождает Христа, дабы с его помощью победить узурпатора Иегову*»[30].

Подобные воззрения, с теми или иными альтерациями, усвоили катары, богомилы, табориты и многие другие еретические коллективы. Привлекательность подобных воззрений понятна: здесь чувствуется свобода, вечно дразнящая сердце, здесь душа глуха к постоянным угрозам потусторонних возмездий за грехи — мы и так пребываем в инфернальной бездне, любая жизнь «там» всегда предпочтительней земной «суетливой смерти». Голгофа для гностиков, которые ее признают, не Божественная жертва ради искупления и спасения (нечего искупать, не от чего спасать), но иллюстрация жестокости Иеговы, великий урок и путь[31]. Куда? К Софии, приемлющей мертвого Христа и возрождающей его.

Стоящий на самом дне по крайней мере избавлен от тяготы иррациональной вины и страха перед загробной жизнью — путь в небо открыт. Терять нечего, комплекса «потерянного рая» нет. Мы, «суетливые мертвецы» (выражение Иринея), пребываем в одинаковом положении, но, разумеется, «пневматики» понимают ситуацию и, просветленные любовью Софии — Христа, стараются освободить «тело души» из тюрьмы злого демиурга. Зачем, спрашивается, если после так называемой смерти, шансы в любом случае улучшатся? Для «пневматиков» да, но не для «саркиров» (людей сугубо материальных). Последние, заснув на какое-то время (физическая смерть), проснутся в том же проклятом мире Иеговы. Эта мысль вполне логична: если ада нет и перспективы дальнейшего падения нет, то ничего кроме удручающего «бега на месте» не предвидится.

Понятно, что Якоб Беме при его вере (хотя и весьма своеобразной) в троичный догмат и акценте на грехопадении ни с чем подобным согласиться не мог.

Оставим до поры сложную мистику Софии, проследим иные тенденции христианской алхимии. Много споров вызвала «притча о сеятеле», где некоторые теологи и алхимики распознали откровенный платонизм. Сеятель разбрасывает зерна от полноты небесной, нисколько не думая, куда они упадут — на тучную ли землю, или на истощенную, или вообще на камни. Сеятеля не заботит, подготовлена почва или нет[32]. А ведь, казалось бы, надо пестовать материю, возделывать землю. Да, если хотят вырастить достойного социального субъекта. Но Христос в этом смысле не воспитатель и не учитель. Он сеет семена, которые дадут всходы в мире ином, повторяя неоднократно: имеющий уши да слышит. Он провозвестник и пример для подражания, сеятель семенных эйдосов — они падают в платоново-аристотелевский субстрат подлунных данностей, в пассивную основу всякой множественности. Хотите — принимайте и преображайтесь, не хотите — не надо. Христос синоптических евангелий — не диктатор и даже не авторитет, его проповеди и притчи лишены повелительного наклонения.

Но ведь это не объясняет ни жертвенности Христа, ни его миссии спасения. Концепция «второго Адама» предполагает прекращение падения, отказ от сотворенного и стремительно деградирующего мира, резкий антагонизм «неба» и «земли». Однако такой антагонизм слишком теоретичен, слишком неестественен. Если для Аристотеля «материальность» представлялась довольно нейтральной рецепцией форм, то здесь материя есть нечто жадное, пожирающее, ведущее к погибели души. Иудеохристианство акцентировало борьбу оппозиций, переходя от скрытого манихейства к явному и наоборот — земной мир превратился в поле битвы принципов добра и зла. И все более резко стала проявляться третья субстанция — природа, натура или, по выражению схоластов, дама Натура.

Хотя Аристотель и считал нейтральную рецепцию основным качеством материи, он понимал недостаточность подобного определения. Материя одного уровня является формой нижеследующего — так вода — «материя» относительно воздуха, но «форма» относительно земли, и т.д. Это привело схоластов к созданию сложной системы эссенциальных, субстанциальных и акцидентальных форм, ибо иначе материя осталась бы возможностью сугубо умозрительной. Роджер Бэкон вообще отрицает однородность материи, подразделяет ее на чувственную, спиритуальную, небесную и формулирует следующее положение: «Hyle particularis desiderat formam particularem», то есть «особому виду материи необходима особая форма». Особая материя, таким образом, обретает качества, которые Платон считал присущими только душе. Так родилось представление о всеобъемлющей и творящей Природе.

Natura naturans, natura naturata — природа порождающая, природа порожденная — нет начала и конца, природа не терпит пустоты, значит, творение ex nihilo теряет смысл. Но, как полагали до века Просвещения, эта природа, предоставленная себе, не произведет ничего кроме беспрерывного хаоса рождений и уничтожений. Разумный порядок и гармония возникают под влиянием концентрического движения планет и созвездий, организованного божественным Логосом через ангелическую иерархию. Однако Спиноза, один из вдохновителей Просвещения, отверг данную систему, объявив природу вечной и бесконечной субстанцией causa sui, имеющей свою причину в себе. Более того: он по сути упразднил «подлунность» мира, высказав предположение, что и луна, и планеты, и звезды состоят из тех же элементов, что и земля. Таким образом, Спиноза освободил природу от диктата Господа Бога, вернее, провозгласил тождество этих понятий[33]. В его построениях нет места метафизическому небу, небесным эйдосам и формам. В подобной «естественности» мирового процесса добро и зло — понятия очень относительные и зависят от точки зрения наблюдателя, равно как форма и материя. Можно различать форму и материю, имея в виду уровни сублимации, «верх» и «низ», то есть незыблемую иерархию. В сублимированном мире Спинозы и его последователей такой иерархии не существует, — к примеру, общество

организовано согласно «эскалархии», служебной лестнице. Как это понимать? В монотеистической религии иерархический принцип общественного устройства санкционирован свыше, земная иерархия должна соответствовать небесной. Должна... однако на деле получается все наоборот. Вспомним притчу о сеятель. Эйдос побуждает (или не побуждает) к развитию скрытый в человеческой композиции эйдолон (forma latenta). Либо этот эйдолон есть, либо его нет, воспитание и подготовка здесь бесполезны.

Небесную иерархию образуют «живые ступени» — серафимы, херувимы, троны и т.д. «Форма» и «содержание» в данном случае совпадают. Когда же такая система транспонируется в земные условия, что получается? Живые ступени превращаются в мертвую схему, в табель о рангах. Земной сеятель «разумного, доброго, вечного» работает интенсивно и агрессивно, стараясь воспитательно подготовить душу и дух своей паствы. Представитель идеально-формального принципа вступает в беспрерывную борьбу с человеческим материалом — инертным и косным. Это борьба моральной догмы и естественного поведения, законного брака и адюльтера, теории и практики, социального порядка и стихии толпы. Борьба «как надо бы» с «тем, что есть».

Результат: невообразимый хаос, дикая взрывная смесь небесного и земного, репрессивная политика схематических идеалов. Земные авторитеты — наместники, помазанники, правители, реформаторы — под двойным прессингом Бога и природы ведут двойную жизнь, попеременно повинуясь то одному, то другому началу. Они охотно верят, что в силу грехопадения люди — злые дети, коих необходимо моральной дубинкой загонять в социальный рай, затем в небесный. Выполнив благородную миссию, вся эта компания предается повелительным природным импульсам, в роскошном досуге растворяя усталые члены. Беда религии, заставляющей стадо верить в трансцендентного Бога, в этот, по словам Фридриха Шлегеля, «фантом абстрактного мышления», заключается в том, что меж людьми и подобным Богом — пропасть, ничто, небытие, — на крыльях спекулятивных упований такое препятствие не преодолеть. Отсюда бесконечные сомнения, наивная вера в Бога как в магического помощ-

ника или столь же наивное неверие. Когда чувствуется, что материя души способна удержать зерно, — начинается вера. Первый шаг на пути постоянного поиска и совершенной самоотдачи. Все или ничего — закон служения Богу. Здесь отличие «имеющего уши» мистика от «просто верующего». Церковь не очень-то жалует мистиков — Якоб Беме яркий тому пример: религиозные популяризаторы предпочитают упрощать и унифицировать учение с понятной целью навербовать сколь можно больше сторонников в свою «партию». Минералы, растения, животные вряд ли способны создать рай на земле, но человек — образ и подобие Божие — очень даже способен. Монотеизм и «одноразовость» земной жизни развивают идею более чем сомнительного антропоцентризма. С человеческой точки зрения, человек, вероятно, центр творения, но вряд ли так считает муравей со своей точки зрения. Сравнение нелепо? Вовсе нет. Что такое человеческая цивилизация в не обозримой телескопами вселенной, как не муравейник? Это, возразят, научное мнение, а не религиозное. Да. Но ведь естественные науки столь необыкновенно претерпели в силу того, что гипотеза о трансцендентном Боге постепенно теряла свою суггестию. Адам был бесспорно «антропоцентричен» в парадизе, но после изгнания он стал такой же частицей природы, как и муравей. Более того: с течением времени понятие «человек» распалось в многообразии толкований. *«Ни в одну эпоху,* — писал Макс Шелер, — *мнения о сущности и происхождении человека не были столь неопределенны и многообразны, как в нашу»*[34]. Надо заметить: в этом многообразии чувствуется тенденция низведения человека к животному состоянию, иначе говоря, к восстановлению разорванной монотеизмом единой цепи бытия. Если homo sapiens — тип человека религиозного либо рационально-гуманного, то homo naturalis включает много разновидностей человека естественного, начиная с «доброго дикаря» Руссо и кончая «хищным зверем, сошедшим с ума от своего так называемого Духа» (Т. Лессинг), или «инфантильной обезьяной с нарушенной внутренней секрецией» (Л. Болк). Трансцендентность Бога спровоцировала умышленный интерес к наукам о природе и породила «научную объективность», то есть принцип спокойного, холодного исследования вне категорий

добра и зла. В восемнадцатом веке естествоиспытатели полагали: да, Творец создал мир, но перестал вмешиваться в его дела. Эволюционисты девятнадцатого века учитывали Бога как центральное неизвестное, направляющее природный процесс к неведомой, но благой цели. Человек еще расценивался достаточно высоко, зоологи еще не могли избавиться от антропоморфных мотивов в трактовке поведения животных. Но после шока, вызванного «Происхождением видов» Дарвина и романом Золя «Человек-зверь», ориентация изменилась. Этнографы, биологи, писатели стали находить все больше общего в поведении, привычках, социальном укладе людей и животных. «В сущности, муравьи нам гораздо ближе обезьян», — мнение современного энтомолога Джеймса Мак-Коэна сейчас вовсе не кажется преувеличенным. Со времен Метерлинка и Дени Сора заинтересованные наблюдатели и ученые-энтомологи пришли к следующему выводу: сходная телесная морфология ни в коем случае не служит доказательством социальной и психологической близости — к примеру, сообщества львов, слонов и даже обезьян почти ничем не напоминают человеческие, а ведь все — позвоночные млекопитающие. Вернее сказать, сейчас не напоминают, так как львы и слоны образуют нечто вроде патриархально-монархических групп. В этом плане следует предположить социальное падение белых людей до уровня матриархально-демократического, то есть до уровня коллективов инсектов.

Энтомологи отмечают крайнюю политизированность этих коллективов: в каждом присутствует несколько «центров возбуждения» — американцы так называют политических лидеров, действующих не логическим убеждением, а силой суггестии — в каждом коллективе существует «оппозиция» и дело часто доходит до «гражданских войн». Некоторые виды агрессивных муравьев («тамбоча» в Южной Америке, «чалу» в Африке) без всякого, казалось бы, повода, срываются с места, и тогда их неисчислимые армии, наступая в строгом порядке, опустошают не только ареал проживания, но и пространство на несколько километров в окружности. Каждый подобный поход грозит впоследствии воинственному племени гибелью (картинка к безрассудным завоеваниям и экологическим бедствиям). Специалисты-энтомологи зачастую не могут

удержаться от сравнения двух цивилизаций: «Допуская безусловную недостаточность наших знаний о термитах и муравьях, нельзя все же не сравнить их жизнь с нашей. Здания, агломераты городов все более напоминают ульи, термитники, муравейники. Мы стремимся к такой же дисциплине и организации труда. Правда, среди термитов и муравьев попадаются пьяницы и лодыри, но общество их быстро «перевоспитывает» или уничтожает...»[35].

Согласно Якобу Беме, потомки Адама в процессе падения «теряют человеческий облик», все более напоминая, физически и психически, различных представителей животного царства: «Люди-жабы, люди-крысы, люди-пауки, сколько их вокруг! И станут люди холоднее жаб и хитрее пауков». И далее у Беме пассаж, более понятный сейчас, нежели в семнадцатом веке: *«И обретет человек муравьиный лик и скажет: нет бога и богов, а есть соломинка на спине. И хорошо бы нагрузить этой соломинкой чужую спину»*[36].

2001

Примечания

(1) Эннеады, III, 4.
(2) J. Bohme, Mysterium magnum, XIX, 4,5.
(3) Aurora, XVII, 21.
(4) J. Bohme, Mysterium magnum, XVIII, 5.
(5) J. Bohme. Menechwerdung, V, 2.
(6) J. Bohme. Drei Prinzipen der gottliches Weisheit, XIV, 7.
(7) Цит. в Blau J. J. The Christian interpretation of the Cabala in the Renaissance. 1944., P. 360.
(8) J. Bohme, Drei Prinzipen, XIV, 8.
(9) J. Bohme. Mensch werdung, I, 10.
(10) J. Bohme. Teosophische Fragmente, 1929, S. 117.
(11) Polemanin, Joachim. Nouvelle lumiere de medeine, 1721, P. 93.
(12) Цит. Barde J. Ze Tresor secret d'Jshrael, 1970, P. 42.
(13) «Шекине» как возможности реализации Творения и важности женского начала в иудаизме посвящена глава выдающейся книги Поля Вюйо (Vuillaud, P. La Kabbale juive, 1938).
(14) Leeuw, B. La femme primitive en Afrique, 1970, P. 95-100.
(15) Eliade, M. Traite d'histoire des religions, 1954, P. 204-207.
(16) Remigius. N. Demonolatria, 1617, P. 310.
(17) Margaret Mead, Women, 1965, P. 92.

(18) Benn, G. Gegammelte Werke, Band Z.
(19) Цит. Abicassis, Armand, La pensee juive, Paris, 1987, P. 62.
(20) Цит. H. Maimonide, Paris, 1951, P. 220.
(21) J. Bohme, Teosophische Fragmente, 1929, S. 182.
(22) M. Eckhardt, Werke, 1935, S. 223.
(23) Предупреждая об опасностях псевдо- или контр-инициации, Рене Генон акцентирует необходимость квалифицированного посредника между неофитом и мистерией. Это сомнительно в случае христианской инициации. По крайней мере, ни одна биография Беме не упоминает о таком посреднике.
(24) J. Bohme, Teosophische Fragmente, 1929, s. 72.
(25) Это напоминает рассуждения Титуса Буркхардта из «Эзотеризма шахматной игры»: вопрос всегда активен, ответ реактивен. Белые начинают, черные отвечают. «Черные силы» всегда реактивны, вторичны, рождаются в ответе.
(26) Signature rerum, XX, 8.
(27) Mysterium magnum, XXV, 14.
(28) В алхимии «естественной» существует масса аллюзий на жизнь и страдания Христа. Крест, расположение тела на кресте, раны, гвозди, кровь, копье Лонгина — все это символизирует разного рода процессы, операции, планеты, металлы, принципы и т.д. Но все это имеет отдаленное отношение к мистической алхимии в смысле Беме.
(29) Gichtel. J. Theosophia Practica, III, 13, 5.
(30) Цит. Schmidt. E.H., Die Gnosis, 1963, B. 2, S. 96.
(31) Это экспрессивно выразил Бодлер, касаясь напрасной мольбы в Гефсиманском саду: Dans ta simplicite tu priais a genoux Celui qui dans son Ciel riait au bruit des clous. (В простоте своей ты молился тому, Кто в своем небе радовался стуку гвоздей).
(32) В многочисленных интерпретациях христианского символа рыбы встречается следующее наблюдение: самец оплодотворяет, не прикасаясь к самке и не интересуясь оной.
(33) Неправомерно подозревать Спинозу в пантеизме, ибо его «бесконечный интеллект» или «бог философов» суть математик единой субстанции. Спиноза скорее анимист, верящий в жизненность каждого объекта, странный геометрический анимист.
(34) Scheler Max, Philosophische Weltanscha uung, 1929, S. 15.
(35) Raignier Albert, Vie et moeurs des fourmis, 1960, P. 96.
(36) Menschwerdung, XIV, 2.

Нотр-Дам де Пари: *Это* убьет *То*

Титус Буркхарт в своей «Алхимии» акцентирует важный момент; ситуацию души и ее материальный состав. Субтильное «тело души», разреженное, гораздо менее плотное, в некоторых параметрах сходно с телом физическим и пребывает с последним в несомненной, но весьма сложной связи.

Взаимоотношениями этих двух тел много занимались неоплатоники, индуисты, арабские герметики и куда менее — европейские алхимики XV-XVIII веков. В европейской литературе превалируют книги по «алхимической химии», то есть сочинения, посвященные методам работы с веществами конкретными и способам их трансформации. Душе, даже понятой просто как этико-

эмоциональное содержание, уделяется не так уж много внимания. Авторы ограничиваются напоминаниями о необходимости терпения, пиеты, трудолюбия: «ora, ora, labora»(молись, молись, работай). Отсюда образ алхимика — добродетельного книгочея и лаборанта, уповающего на помощь Божию.

Можно, конечно, из герметических парабол и символов сделать некоторые выводы о ситуации и структуре души, поскольку три принципа — меркурий, сульфур и соль — соответствуют духу, душе и телу. К. Г. Юнг порой остроумно и глубоко ассоциирует алхимические и психические процессы, однако при чтении его произведений создается впечатление, что в подобном исследовании можно использовать лексику какой-нибудь другой мистической традиции.

Титус Буркхарт описывает душу как сложное целое, апеллируя к индусской системе «санкхья»: четыре субтильно-материальных элемента (земля, вода воздух, огонь) образуют четыре тенденции (растительную, животную, рациональную, интеллектуальную). Человека очевидным образом отличают от зверя две последние — рациональная и в особенности интеллектуальная (ее еще называют «небесной»). Динамика этих субтильных элементов определяет тонус, темперацию, здоровье, болезнь физического тела. Титус Буркхарт — ориенталист и посему предпочел арабо-индусские авторитеты, хотя очень любопытные и подробные сведения касательно «тела души» можно извлечь из сочинений неоплатоников Синезия и Плутарха Афинского, затем Марсилио Фичино, Парацельса, ван Гельмонтов (отца и сына). Но суть не в этом, а в следующем: существует алхимия, нацеленная на трансформацию «материи души» и другая алхимия, посвященная трансформации земных веществ. Эти две алхимии иногда почти пересекаются, иногда расходятся далеко. Так вот: когда Титус Буркхарт говорит об упадке европейской алхимии, начиная с конца пятнадцатого века, он, по всей вероятности, имеет в виду решительный поворот в сторону физико-химической материальности. Это совпадает с концом магической культуры Средних Веков и постепенным переходом к новому рационально-прагматическому мировоззрению. Но еще до торжества рацио, христианская алхимия, пронизанная страстной

эсхатологией, пыталась спасти, одушевить, одухотворить тяготеющих к ночи и хаосу человека и космос, о чем хорошо пишет М. Элиаде. Действие романа «Нотр-Дам де Пари» происходит именно в это конфликтное и драматическое время.

* * *

Виктор Гюго несколько опередил Эжена Сю в изображениях «парижского дна». Притом писателей отличают разные психологические задачи. Эжен Сю, вдохновленный передовыми идеями буржуазных гуманистов, выступает за нравственно-жилищные улучшения с целью повысить уровень «низов». Это, очевидно, предполагает определенное снижение уровня «верхов». Данные процессы, в конце концов, привели к образованию «среднего класса» и странной смеси роскоши и нищеты, называемой комфортом.

Виктора Гюго подобная задача не интересовала. Он романтик, а посему построил роман на жестокой игре беспощадных оппозиций. Роскошь и нищета столь же противоположны, как небо и земля, рай и ад. Роскошь и нищета — средоточия жизненной динамики формы и материи, верхний и нижний полюса общественной иерархии. Чем лучше и гармоничней организована материя, тем меньше в ней «лишенности» (privatio — один из главных атрибутов материи по Аристотелю), децентрализации, хищной потенциальности, бесчисленных зависимостей. Автономной данности присущи однородность, простота, гармоническая связь частей, практически неотделимых от целого. Таковы, к примеру, золото, алмаз. Алхимик ищет универсальный катализатор — камень философов — дабы повысить уровень вульгарного металла и спасти его от неизбежной коррозии — волнующий христианский символ.

Допустим, алхимик своего добился, построил дворцы и больницы, поместил туда бедных людей, дабы улучшить их нравственно-жилищные условия. Не будем развивать эту утопию, остановимся вот на чем: получить естественное золото искусственным путем — задача суперсложная. Заметим, в тысячу раз легче умному и предприимчивому человеку обогатиться обыкновенными способами. Существует две «универсальные фармакопеи» или, если угодно,

два философских камня — один трансформирует материю физическую, другой — материю души. Постараемся не особо запутаться в этом сложном вопросе. На материю действуют две формообразующих силы — внешняя и внутренняя (forma informanta и forma formanta). Майстер Экхарт об этой последней: *«Субстанциальная форма (forma latens substantiale) таится в сердце, в сокровенной глубине (in abditis) материи»*. Это, по всей вероятности, дух, энтелехия «тела души», принцип организации материальной данности, ее внутренний логос. Если какую-либо данность пытаются улучшить, сообразуясь с общим понятием о гармоническом целом, неизбежен, очевидно, конфликт внешней формообразующей силы и формы, скрытой в сердце субстанции. Внешняя форма действует на материю минеральную, растительную, животную, человеческую мягкой либо агрессивной компрессией, воспитанием, ограничением, специальной обработкой и т.д. Так выращивают новые плодовые сорта, дрессируют зверей, фабрикуют искусственные драгоценные камни, выделывают из дурнушек — красавиц, из простолюдинов — джентльменов. Руководствуясь тем же методом, разнообразным внешним воздействием на минералы и металлы алхимик способен получить очень похожий на золото металл, который вполне выдержит требуемую апробацию, но...через некоторое время начнет терять свои «золотые» качества один за другим. Фома Аквинский (или псевдо-Фома) сказал так: *«Алхимики делают металл очень похожий на золото по внешним реакциям, но это не натуральное золото, так как последнее обретает субстанциальную форму не от лабораторного огня, но от солнечного тепла, сконцентрированного в определенном месте. Посему алхимическое золото не обладает качествами, обещанными его блеском»*.[1]. Среди прочего, это означает: внешнее воздействие, даже весьма продуманное, радикально не меняет сущности объекта, то есть его скрытой субстанциальной формы. Это вполне относится к тому или иному человеческому коллективу.

Монархия сильна, когда придерживается небесного своего принципа. Дисгармония, диссонансы, лишенность, хищная, многовекторная потенциальность свойственна косной, децентрализованной материи. Но что происходит, когда по видимости монархическое правительство

разделяет «идеалы» толпы касательно воровства, грабежа, обогащения? Такова французская монархия конца пятнадцатого века, по мнению историков, по мнению Виктора Гюго. Алчный, жадный, беспощадно жестокий Людовик XI, духовенство и дворянство, блистающее сходными качествами. По сравнению с этой инфернальной компанией, «двор чудес» — динамический, животворный хаос, где довольно фиктивная иерархия нисколько на стесняет свободного развития субстанциальной формы каждого индивида. Это напоминает жизнь металлов в горных породах. Проведем следующее сравнение. Воздействие на такой «двор чудес» внешней формы — отбор, классификация, воспитание, улучшение условий — очевидным образом устранит его сущность. И вот высказывание английского герметика Томаса Вогана: *«В молодости, примерно года три, я работал в лаборатории пока не уразумел: убогое это занятие — травить кислотами мертвые металлы. Ищите живое золото, живые алмазы, живые изумруды.»*[2]. Обычная промышленная разработка убивает душу металла, равно как воспитание и специализация убивает душу человеческую. Сравним с фрагментом Титуса Буркхарта о ритуальной выплавке золота.

Со времен Ренессанса началось аналитическое нападение на природу. Изучение, рекогносцировка, разъятие на части с целью последующего созидания сугубо человеческого континуума. Действие Нотр-Дам де Пари идет в эпоху, когда интеллект, постепенно утрачивая свои квинтэссенциальные свойства, начал превращаться в раскаленное лезвие рацио. Решающий исторический поворот, переход магии в естествознание, алхимии в научную химию, жизни в смерть, человека в антропоморфный механизм. Клод Фролло, один из главных героев романа, растерзан этим лезвием и этим поворотом.

* * *

Архидьякон Нотр-Дам де Пари — неистовый, неукротимый искатель философского камня, один из тех страшных людей, о которых Чосер писал в «Кентерберийских рассказах»:

Он бросил в тигель пятое наследство,
И если б от того зависела удача,
Жену, детей он истолок бы в ступе.

«Отчего полысел его широкий лоб, — спрашивает автор романа, — *отчего голова его всегда была опущена, а грудь вздымалась от непрерывных вздохов...Почему поседели его поредевшие волосы?»* А ведь ему только тридцать пять лет.

Потому что Клод Фролло бился как проклятый над разрешением великой проблемы, а когда, побежденный отчаяньем, ронял голову на очередной манускрипт, надежда подползала и шептала: еще не все потеряно, ищи...

Алхимики согласны, без помощи Божьей найти формулу вселенной не удастся. Ведь они, в сущности, убеждены в наличии такой формулы. Иначе гармония мироздания совершенно необъяснима: лестница, иерархия, путь от зловонного болота пиявок и лягушек до идеально формализованной материи золота, да, здесь постепенное развитие, но где резон этого развития, где его катализатор? По схемам неоплатоников и схолиастов все, вроде бы, неплохо: эманации «первоединого» — интеллект, звездная сфера, солнце, луна, душа; затем душа входит в сферу чувственных элементов и трансформирует ее. Стоп. Каким образом, способом душа входит в чувственный мир и трансформирует последний согласно своей природе, своему замыслу? Золото суть материализованный солнечный свет, но где «агент», с помощью коего свет воплощается? Почему, когда некий раввин бил молотком по магическому гвоздю, рассуждает Клод Фролло, созерцая этот молоток и этот гвоздь, почему его далекий враг уходил по пояс в землю? Между мыслью о могуществе и ее реализацией разверз Господь пропасть, поставил «стражей порога», недаром меж собором и небом застыли категорические химеры. Однако эту пропасть преодолело немало людей, к примеру, Николай Фламель, рабби Захиэль, да и еще можно назвать полсотни имен. Почему же ему, великолепно подготовленному теологу, демонологу и герметику не уступают «стражи порога»? Неужели он так и останется, подобно почти всем, тварью дрожащей? Если б удался магистерий, «короля Франции звали бы Клод.»

Что плохого в таких мыслях? А вот что: они хороши для честолюбца, по сути, ничего кроме этого мира не признающего. Клод Фролло истощил жизненные силы,

приобретая интеллектуальную собственность, а теперь хочет обратить ее в золото. Однако ученый герметик должен знать главную алхимическую заповедь: сепарация от мира и хода его вещей обязательна. Но увы, архидьякон все более и более привязывается к миру сему. Мы упоминали, роман построен на жестокой игре оппозиций. Одна из главных оппозиций: Клод Фролло видит паука, что деловито приближается к мухе, запутанной в паутине: *«Вот символ всего! Она летает, она ликует, она только что родилась; она жаждет весны, вольного воздуха, свободы! О да! Но стоит ей столкнуться с роковой розеткой, и оттуда вылезает паук, отвратительный паук! Бедная плясунья! Бедная обреченная мушка!..*

Увы, Клод, и ты паук! Но в то же время ты и муха! Клод, ты летел навстречу науке, свету, солнцу, ты стремился только к простору, к яркому свету вечной истины; но, бросившись к сверкающему оконцу, выходящему в иной мир, в мир света, разума и науки, ты, слепая мушка, безумец ученый, ты не заметил тонкой паутины, протянутой роком между светом и тобой, ты бросился в нее стремглав, несчастный глупец!»

Фиксировать летучее, окрылять фиксированное — эта максима неустанно повторяется в книгах по алхимии, однако вряд ли где-нибудь это ассоциировано с пауком и мухой. Слов нет, паук — крайне суггестивный символ, но, конечно, не в данном экзистенциальном моменте. Называя себя пауком и мухой одновременно, Клод Фролло имеет в виду трагичность своей судьбы, разорванность своей души. И паук, и муха весьма далеки от мысли о сепарации, отрешенности от мира сего, ибо грешат любопытством и жадностью. Клод Фролло не аскет, но жертва идеи фикс, он пренебрегает утехами земными ради высшей радости всемогущества, которую даст великий магистерий. Внешне архидьякон скромен и сдержан, хорошо исполняет свои обязанности, заботится о младшем брате, об имуществе, воспитывает уродливого подкидыша Квазимодо. Однако честолюбие его непомерно, по натуре он повелитель и покоритель, и его энергия смертоносна. Каким же образом такой человек, несомненно далекий от сладострастия, стал жертвой чар Эсмеральды? Вероятно, он вполне искренне считал ее колдуньей. Ни

разу Клоду Фролло не пришло в голову, что судьба, на которую он столько жаловался, явила ему более высокий уровень бытия.

В сущности, он эрудит-экспериментатор, действует на материю формообразующей силой (forma informanta) искусно и терпеливо. Он, видимо, верит, что имя вещества незыблемо связано с его субстанцией, то есть верит в закон идентификации. Проще говоря, свинец всегда свинец. Решающий момент. Одни верят в естественную трансмутацию (быструю или медленную), другие вообще не верят в подобные вещи, третьи — и Клод Фролло из их числа — верят в секрет преображения постоянных веществ. Нечто, названное, припечатанное именем «свинец» или «ртуть», с помощью «агента» или «катализатора» имеет шансы превратиться в нечто более совершенное, именуемое «золотом». Надобно открыть, расшифровать, отгадать с помощью Божией таинственного «агента», «убить живое, оживить мертвое», найти «воду, что не увлажняет рук», «огонь, что не жжет пальцы» и т.д. Соединить оппозиции, сдружить муху с пауком, Эсмеральду с Квазимодо...

Таких мыслей у архидьякона нет. Он знает — Эсмеральда цыганка, колдунья и больше ничего. Квазимодо глухой урод и больше ничего. Важную герметическую гипотезу «omne in omnia, mobile in mobilis»(все во всем, подвижное в подвижном) архидьякон, видимо, относит к широким вселенским горизонтам, но не к окружающим обьектам и ситуациям. Отсюда превалирование «фиксации» над «летучестью» в его жизни и лабораторных методах.

Алхимия не признает фиксированных раз и навсегда «кирпичиков бытия» в смысле периодической таблицы элементов. Даже элементы с четко установленными качествами, симпатиями, антипатиями, к примеру, сурьма или арсеник это модусы, тенденции, напряженности, неуловимые точными определениями. В природе нет статики, неподвижности, смерти, как свидетельствует категорическое высказывание Парацельса:

«Натура, космос — единое великое целое, организм, где все вещи согласуются меж собой и нет ничего мертвого. Все — органично и живо, космос — необъятная живая сущность. Нет ничего телесного, что не таило

бы в себе духовного, не существует ничего, что не таило бы в себе жизни. Жизнь это не только движение, живут не только люди и звери, но и любые материальные вещи. Нет смерти в природе — угасание какой-либо данности суть погружение в другую матрицу, растворение первого рождения и становление новой натуры».[3]

Тайная, неразрушимая жизнь данности, что это? Схолиасты называли ее побудительную причину forma latenta substantialis, forma formanta (скрытая субстанциальная форма, форма формирующая. Для Альберта Великого это золото: *«В любой вещи, в любой данности скрыта частица золота»*.

Исходя из этого, алхимия не химия, но, скорее, агрикультура, лаборатория, скорее, оранжерея, где рост и расцвет той или иной субстанции зависят от деликатного обхождения и присутствия субтильного огня. Живые и переменчивые металлы и вещества пребывают в сложном взаимодействии, где оператор не просто манипулятор, наблюдатель, начальник, но участник, подверженный влиянию процесса.

Но Клод Фролло вряд ли был бы доволен столь скромной ролью.

Разумеется, он не стяжатель или честолюбец в обычном смысле, ибо при своем уме и связях легко бы «сделал карьеру». Нет, ему нужна власть над миром, богатство царя Мидаса, эликсир долголетия — да мало ли чего следует ожидать после реализации великого магистерия, «секрета секретов». Это определение появилось как раз в эпоху Клода Фролло. В шестнадцатом веке и далее «секрет» стал серьезным фактором частной и общественной жизни. Секрет эффективней, нежели «право рождения», разделяет людей на избранных и всех прочих. Разумеется, вокруг много таинственного, сама жизнь суть тайна, но это не само собой разумеется. «Нет ничего тайного», — цитируют искатели, но, увы! Чем активней раскрываются секреты, тем лучше они размножаются.

Здесь проходит граница двух цивилизаций — магической и рациональной. Первая почитает секрет и охраняет от аналитической агрессии, вторая, одержимая поиском «объективной истины», раскрывает и пользуется в целях благородных либо каких иных. Мало того, что люди разделены на богатых и бедных, сильных и слабых, умных и дураков, так надобно их еще поделить на посвященных и профанов.

Философский камень, понятно, окружен культом высокой секретности. Резоны обычные, не слишком убедительные: не дай Бог, профаны, злодеи, мошенники и прочая компания такого разбора получит волшебный ключик, скатерть-самобранку и так далее.

Абсурд подобных аргументов очевиден. Трансмутация вульгарных металлов в золото удостоверялась надежными свидетелями десятки если не сотни раз. Вероятный «точный рецепт» давным давно бы стал известен, если учесть настойчивость хищников, ловкость спецслужб и всеобщую продажность. Однако, по мнению многих герметиков, начиная от Гебера и кончая Иринеем Филалетом, трансмутация свершается только в присутствии алхимика, который сам изготовил тинктуру проекции. Да и то далеко не всегда: зачастую тинктура непонятным образом теряет свои свойства.Посему зафиксировать «секрет секретов» невозможно.

Фигура «Алхимии» на большом портале собора Нотр-Дам: правая рука придерживает две книги — к зрителю обращена открытая книга, за ней — закрытая. Куда уж яснее — сначала знание экзотерическое, затем секретное, эзотерическое. Закрытая книга учит тому, как перейти, перепрыгнуть, перелететь бездну меж спекулятивной эрудицией и квалифицированным действием. И Клод Фролло неистово, упорно ищет секрет, изучая статуи собора, барельеф кладбища Невинных, сочинения великих мастеров. Если сказать ему: успокойтесь, мэтр, оставьте в покое закрытую книгу, оставьте физическую алхимию, займитесь спиритуальной: сепарация «тела души» от физического тела откроет вам неведомые, удивительные миры, куда прекрасней жалкой этой планеты. Если ему это сказать, что ответит Клод Фролло? Что может ответить человек, который заявил Эсмеральде: *«Один конец нити дьявол привязал к моим крыльям, другой — к твоей ножке.»*

Эсмеральда, изумруд, зелень вечной весны, где сверкают солнечные звезды, реминисценция Венеры, божественной танцовщицы. Согласно неоплатонику Синезию, «танец Венеры рождает эманации мыслимой гармонии». Античные божества часто меняют имя и субстанцию, что весьма затрудняет понимание мифов. Равно как Дионис и Сатурн превращаются в Аполлона и Гелиоса, Венера становится Персефоной, Гекатой,

Дианой. Венера и девственна и любострастна, ее женское средоточие может раскрываться и вновь смыкаться. Эсмеральда несколько напоминает это чудо. Целомудренная среди воров и потаскух, исступленная и трогательная, она не раздумывая отдается капитану Фебу де Шатоперу, ибо он — солнечный воитель: «Я люблю ваше имя, я люблю вашу шпагу.»

Действие Эсмеральды на окружающих сравнимо, в известном плане, с действием редкой субстанции, которая в алхимии называется «изумрудом философов». Эта субстанция растворяет, уничтожает составы несовершенные и, напротив, поощряет, активизирует скрытые тенденции к совершенству и централизации. Эсмеральда благотворно влияет на «двор чудес» и Квазимодо и вполне пагубно на Клода Фролло. Последний «распадается» в атмосфере Эсмеральды, его «тело души» разрывается в собственной стихийной напряженности. Неудачная работа по химической трансмутации завершилась подлинной человеческой катастрофой, ибо архидьякон выбрал и реализовал максимально неудачный символ единения противоположностей — паука и муху.

* * *

Трагическая судьба и предосудительное поведение не мешают Клоду Фролло великолепно мыслить. Виктор Гюго дал длинный комментарий на его короткий афоризм: «*Это убьет то*». О чем, собственно, речь?

Гости заинтересовались новинкой — печатной книгой на столе архидьякона и спросили его мнение касательно данного изобретения.

«Некоторое время архидьякон молча созерцал огромное здание, затем со вздохом простер правую руку к лежавшей на столе открытой печатной книге, а левую — к собору Богоматери, и, переводя свой печальный взгляд с книги на собор, он произнес: «Увы! Вот это убьет то».

Данное конкретное высказывание очень и очень многозначно. Конец Средних Веков, начало нового времени отмечены вытеснением индивидуальной жизни социальной и, соответственно, тенденцией к унификации во всех областях. Печатная книга постепенно становится универсальным зеркалом любого знания. Для Гюго расцвет книгопечатания это упадок архитектуры. Но, пожалуй, не

только архитектуры, но средневековой культуры в целом. Книгопечатание — одно из первых проявлений техники изготовления многочисленных копий. Стандартизация медленно и верно двинулась в победный путь. В Средние Века использовалось множество языков, вернее, любое занятие имело собственный язык: архитектура, скульптура, живопись, геральдика, магия, астрология, алхимия обладали своими «знаковыми системами». Предметы обихода, ювелирные украшения, цветы, плоды, орнаменты — все это, сочетаясь в сложной системе соответствий, отражало мировоззрение индивида или группы таковых. Жизнь была очень формализована, каждая пустяковая вещица могла стать центром далеко идущих логических и эстетических построений. В «Книге простеца» Николая Кузанского ремесленник объясняет сложную геометрию пространства на плоскостях, изгибах, закруглениях деревянной ложки. Возьмем ситуацию более легкомысленную. К середине четырнадцатого века появился обычай целовать дамскую руку на прощанье. Вокруг этого куртуазного жеста образовалась любовная «знаковая система».

Поцелуй того или иного пальца, той или иной фаланги без лишних слов уточнял степень и характер любви, время и место свидания, предостережение, поощрение, жалобу на жестокость дамы и т.д. Это легко понять: каждый палец означал: одну или три (считая по фалангам) буквы алфавита; планеты и созвездия зодиака; дни недели и часы дня и ночи. Подобный язык позволял молчаливо и деликатно выразить фривольную мысль. Зачем говорить «мадам, я хочу вами обладать», лучше коснуться губами «кольца Венеры».

Нет такой области, где познания свои нельзя проявить статикой или динамикой пальцев. На гравюре из книги Исаака Холландуса «Химические сочинения»(1667) рука обращена ладонью к зрителю, над каждым пальцем соответствующий символ, на ладони изображена плывущая в огне рыба — одна из ситуаций conjunctio oppositorum. Любой эрудит сразу поймет какие вещества, какие операции, какой порядок операций предлагает автор книги — вербальная расшифровка здесь не нужна. Герметики, маги, каббалисты могут вести свои дискуссии посредством жестов, цветов, плодов, разноцветных шариков и ниток и т.п. Очень яркий пример — диспут Панурга и англий-

ского ученого Таумаста в «Гаргантюа и Пантагрюэле» Рабле. Диспут крайне интересен особенно для середины шестнадцатого века, ибо касается сравнения гелиоцентрической системы с геоцентрической. Панург защищает первую. Для торжественного собрания он принарядился: *«Надобно вам знать, что у Панурга на конце длинного гульфика красовалась кисточка из красных, белых, синих и зеленых шелковых ниток, а в самый гульфик он положил большущий апельсин»*.

Четыре этих цвета присущи, согласно античной космогонии, четырем стихийным элементам. Кисточка помещается на гульфике, ее динамика зависит от пульсации эротической силы. Апельсин — классический символ солнца, равно как лимон — луны. Панург поясняет жестикуляцией: в гелиоцентрической системе нет места понятию мировой души или квинтэссенции, с чем безусловно не согласен Таумаст. Минут за двадцать этого диспута участники продемонстрировали столько «информации», что Таумасту пришлось впоследствии написать внушительную книгу комментариев.

Любую данность, понимаемую как живой организм, бесполезно «изучать», то есть анализировать, затем заново синтезировать разъятые фрагменты. А.Ф. Лосев в комментарии к Проклу сказал: *«Целое, из которого состоит организм, есть идея и принцип организации организма. Если этого принципа нет или если он уходит из организма, то организм разваливается на отдельные, уже не органические части, не имеющие отношения одна к другой»*. Изучая эти части, по-всякому их переставляя, мы никогда не найдем первичных, естественных связей. Любопытство, выгода, тяга к порядку и схеме побуждают подобное изучение. Встреча познающего и познаваемого это взаимодействие живых организмов — так, по крайней мере, полагали в Средние Века. Надо почувствовать центр познаваемого, принцип его организации — будь то дерево, здание, нравственная догма, Этот центр повторяется, отражается, прослеживается даже в минимальном сочленении. Далее, интеллектуальной интуицией надо представить «эмиссаров» центра, распределяющих до периферии его влияние — это напоминает распознавание музыкальной тоники, доминанты, субдоминанты. Всякая вещь, всякое наименование имеет естественные эманации. К примеру, в пятнадцатом, шестнадцатом веках на дверях домов женщин легкого поведения часто изображалось абрикосовое дерево (L'abricotier). Надпись под изображением гласила: «abri cotier» — «приют на берегу». Однако на любовном жаргоне того времени «cotier» означало: «проныра», «плут» — ассоциация вполне прозрачная. Анаграммы слова l'abricotier составляли фразы фривольные и непристойные.

Перестановка букв и слогов очень широко использовалась орфической и пифагорейской магией, затем каббалой. Техника перестановок и комбинаций необходима при составлении заклятий, наговоров, заговоров, магических инкантаций и эвокаций. Собранные из букв треугольники, круги, квадраты надежно хранили секрет оперативных формул. Элементы шутовской или куртуазной культуры совсем не исключали сугубо серьезных занятий. Взглянем на магический латинский квадрат sator-arepo:

SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS

Можно читать сверху вниз, снизу вверх и в любую сторону. Разное прочтение дает разный смысл. Читаем сверху вниз, получаем два значения. Религиозное: «бог владеет творением и делами человеческими»; обычное: «сеятель Арепо (имя собственное) ведет рукой плуг (колесо)». Еще одно значение: «разбрасывающий семена постоянен в круговом действии». Ходы под разными углами дают магические рецепты и формулы, методом анаграмм составляются тринадцать латинских предложений, комбинации латинских и греческих букв рождают очень эффективные молитвы и заклинания.

Однако вернемся к прямому смыслу высказывания Клода Фролло. «Это убьет то». Книга убьет собор, люди перестанут понимать аллегории и символы каменных изваяний и орнаментов, любители будут читать книги о соборе, выбирая то или иное мнение.

Готический собор являет чудо архитектуры. Купол не давит сверху на стены, как в романском ордере, стены

«выжимают», «выталкивают» купол — конструкция напоминает букву «Н». Если расположить купол (горизонталь буквы) чуть выше или ниже — стены сомкнутся или разойдутся. Удивительно как подобная задача вообще была решена. Правильность решения «подтверждается» чистым перекатным эхо от голоса или инструмента. Фулканелли в «Тайне соборов», ссылаясь на мнение очевидца, армянского епископа Мартириуса (XV в.), сообщает: главный портал собора Нотр-Дам был раззолочен, отделан пурпуром, лазурью, розовым серебром — «поистине врата парадиза». Фулканелли упоминает несколько статуй, что привлекли внимание Клода Фролло, в частности «мессира Легри» (это место очень неточно переведено на русский). Этот Легри, худой и высокий, держал в одной руке книгу, в другой — змею. В народе его прозвали «Постник собора Нотр-Дам». «Мессир Легри» входил в ансамбль роскошного фонтана, который когда-то вздымался перед главным порталом собора. Надпись на фонтане:

Oui sitis, huc tendas: desunt si forte liquores,
Pergredere, aeternas diva paravit aquas.
(Кто мучается жаждой, иди сюда:
если случайно иссякнет фонтан,
Богиня постепенно наполнит фонтан
вечной водой.)

Загадочного «мессира Легри» называли по-разному в зависимости от вкусов и увлечений наблюдателей. Видели в нем и Эскулапа, и Фебогена — сына солнца, и Гермеса, и бога Термина.

Надо думать, много времени проводил Клод Фролло близ этого фонтана.

Упоминается, что «архидьякон досконально исследовал исполинскую статую святого Христофора». (Кстати говоря, ни «мессира Легри», ни святого Христофора во времена Виктора Гюго уже не было — эти статуи в XVII — XVIII веках убрали, снесли, уничтожили.) По преданию, в цоколе святого Христофора знаменитый алхимик Рене де Мажистри спрятал герметическое золото — Клода Фролло несомненно сие интересовало.

Вернемся к проблеме «это убьет то». Фулканелли объясняет нам — очень сдержанно как положено мастеру: в герметике святого Христофора (тот, кто несет Христа) трактуют как Хризофора — «носителя золота». Вслед за Фабром д'Оливе, Фулканелли называет столь вольное обращение со словами, именами, терминами «фонетической кабалой». (Здесь многозначные ассоциации: во-первых, с каббалистикой — искусством комбинаторики, во-вторых, с греческим словом «кабала» — лошадь, кобыла — аллюзия на метод обучения, коим пользовался кентавр Хирон). Это позволяет сблизить хризопею и христианство, герметику и мистерию Христа. Комментарий Фулканелли: «Солнечный сульфур (Иисус), новорожденное золото поднимается из меркуриальной воды силой Меркурия.» Не будем углубляться в меркуриальную воду — это нам точно не по силам и не служит нашей более скромной задаче. Наше рассуждение ведет к следующему: печатная книга погубила культуру индивидуальную и магическую. Мы утратили способность принимать что-либо в его живой целостности, мы выбираем из любого целого его частности и нарочитую целесообразность. Собор — здание, где свершаются для верующих религиозные обряды. Мы смотрим на статуи «Алхимия» или «Алхимик», потом читаем книгу о соборе, где сообщается: статуи изготовлены тем-то и тогда-то. Факты. Информация. Но что такое эти статуи, почему именно они, кому направлено их «сообщение»?

Умеющим разгадать жизнь этих статуй.

Собор Нотр-Дам и королевство Арго сюжетно связаны в романе.

Теперь обратимся к Фулканелли: *«Для меня «готическое искусство» (art gothique) просто контаминация слова argotique (песня, инкантация, жаргон), звучащего точно так же. Традиционная кабала в каждом языке соответствует его фонетическому закону, а не орфографическим правилам. Собор это произведение art goth (готического искусства) или argot — песни, инкантации, жаргона. Словари считают арго особым языком индивидов, не желающих, чтобы их понимали посторонние. Это сонорная, устная кабала. Арготьеры, то есть владеющие таким языком герметики — потомки тех, кто на корабле «Арго» плыл к недоступным берегам Колхиды в поиске «золотого руна». Все посвященные*

говорят на подобном языке — будь то Франсуа Вийон и ваганты «двора чудес» или свободные мастера Средних Веков, члены «ложи Бога», что построили готические соборы, коими мы восхищаемся сегодня. Это мореходы-конструкторы, они знали дорогу к садам Гесперид».

Данное утверждение порадует, возможно, Панурга или Жеана — легкомысленного братца архидьякона, но вряд ли искусствоведов, вряд ли мрачного и серьезного Клода Фролло. По существу, Фулканелли причислил герметиков к ворам, бандитам, нищим королевства Арго, а самое королевство населил потомками аргонавтов — Язона, Геракла, Орфея и т.д. Легитимно ли это? Да, если считать герметику «веселой наукой». Заметим: все эти воры, вся эта рвань пребывает под покровительством бога Гермеса. В алхимическом сне Артефиуса сказал Гермес: «Кто ловко ищет, много находит, кто мало ищет, находит еще больше.» И все-таки, напиши это кто-нибудь другой, а не Фулканелли, который считается чуть не единственным адептом алхимии после Иринея Филалета, реакция начитанной публики была бы иной. Ну мыслимо ли, чтобы Клод Фролло бросил все, растранжирил бы денежки в компании братца Жеана и принялся изучать арго на «дворе чудес»?

Где граница «фонетической кабалы» и бесконтрольной игры слов? Фулканелли допускает, что можно легко заблудиться в «капризном лабиринте воображения». Но: *«Нет ничего случайного здесь внизу. Все предвидено, продумано, отрегулировано. Если обычные, правильные слова более нас не инструктируют, не возвышают, не приближают к нашему Творцу, эти слова бесполезны. Когда-то устное слово позволяло человеку доминировать над всякой живой тварью, но постепенно потеряло оно благородство, величие и красоту, превратилось в тщеславную игрушку демагогов. Однако остается непреложным следующее: язык — инструмент Духа — живет собственной жизнью, пусть отраженной жизнью универсальной Идеи. Мы не изобретаем ничего и ничего не творим. Все во всем. Мы заблуждаемся, думая, что открываем новое. Это новое уже существует».*

Для герметической интуиции язык обретает свойства ослепительной,текучей субстанции, Представляя собор вариантом корабля «Арго», Фулканелли акцентирует

космический элемент воды. Но что такое «космический элемент», что такое земля, вода, воздух, огонь? Из книг этого точно не узнать. Известный французский эзотерик восемнадцатого века Клод де Сент-Мартэн так заключил одну свою работу: «Советую читателю не читать никаких книг, в том числе и эту». Увы, слишком поздно. Это убило то.

2001

Примечания

(1) «Sankti Thomae Aquinatus in quatuor libros sententiorum Petri Lombardi», 1659.

(2) Lumen de lumine, 1662.

(3) Astronomia magna.

Послесловие к Тамплю: ради триумфа Розы

Судьба так называемых герметических дисциплин любопытна: одни вполне даже расцветают — астрология, некромантия, алхимия...не будем говорить о качестве этого расцвета. Другие совершенно неизвестны — гоэтия, дагонология — не стоит просвещать читателей, не наше это дело. Геральдика тоже относится к числу подобных дисциплин. Каких? Известных или нет? Забавный момент: геральдика присутствует в современности. Но как? Социум, испытывая порой нечто вроде укоров совести касательно прошлого, начинает взывать к «традиции», «народной мудрости», «секретному знанию».

Геральдика суть рыцарская культура и ушла вместе с этим сословием. Йохан Хейзинга и Арнольд Тойнби точ-

но определяют, когда это случилось: во второй половине пятнадцатого века после поражений и гибели бургундского герцога Карла Смелого в войнах со швейцарскими кантонами.

Далее и до нашего времени наблюдается постепенное растворение сословий: дворянство еще как-то держалось, модифицируясь в английское джентльменство и прусское юнкерство, затем все это уничтожил механизированный хаос.

История белой цивилизации кончилась, ибо иссякла органическая жизненная сила. Поэтому любое обращение к прошлому, любое заимствование обретает характер подражательный и пародийный. Геральдика ныне — простое и формальное начетничество для потехи «мещан во дворянстве» или денежных тузов.

Передача геральдических сведений сейчас и особенно по-русски — дело трудное. Русский геральдический язык — о нем всерьез можно рассуждать только до эпохи Романовых — изобиловал малопонятными архаизмами и вульгарными латинизмами. Но говорить о рыцарском ордене, минуя геральдику, невозможно. Попытаемся, по обычаю девятнадцатого века, употребить более или менее вразумительный жаргон.

Мы назвали этот сборник материалов по истории тамплиеров «Босэан», апеллируя к военному штандарту ордена. Не впадая в геральдические тонкости, скажем только: щтандарт суть военный «сублим», то есть эмблема атаки и только атаки. «Босэан» — шелковой материи прямоугольник, где высота и основание соотносятся по «золотому сечению»; нессер (поле штандарта, герба и т.д.) поделен декстером (горизонтальная прямая, в данном случае) на две половины: верхняя (гиперстаза) цвета беззвездной ночи, нижняя (гипостаза) цвета первого снега. Здесь, понятно, много ассоциаций, профессиональных и лаических, на которых мы останавливаться не будем.

На официальных процессиях, собраниях, торжествах орден выставлял «банньер» (это неправильно трактуется как «знамя»). Банньер: шелковой материи квадрат большого размера: на упомянутый биколорный нессер наложен алый крест о восьми финах (концах), крест патриарха Иерусалима.

Воинский дивизион немыслим без штандарта или «гонфалона» (воины в отличие от солдат, то есть наемников, суть люди, посвященные в боевое искусство). Как весьма изысканно сказал Роберт де Сабле (великий магистр Тампля, друг короля Ричарда Львиное Сердце): «Гонфалон — путеводная звезда в ночи, фонтан в жаркий день». Энтузиастический комментарий касательно гонфалона-штандарта понятен, но дело, в данном случае, не в этом.

В европейской символике, в отличие от японо-китайской, черное и белое соответствует моральному негативу-позитиву. Что это значит здесь? Победа или смерть, ясно, далее этическая бинарная система, до тонкостей разработанная схолиастами — современниками Тампля. Общая схема: порок-смерть, добродетель-жизнь. Так? Луи Шарпантье представляет бинарную систему основной у тамплиеров. Но ведь христианство пронизано манихейством с начала до конца. Все более и более разрастается образ Врага, Дьявола, Архонта мира сего. С десятого века и далее, христианство превращается в религию крайне воинственную и беспощадную, в социально-политический raison d'etre белой расы. Акцент фразы «не мир, но меч» все более и более переезжает направо.

С десятого века и далее, противоречие, противоположность, дихотомия, либо-либо — онтологический модус христианского человека. Проблема выбора, то есть ориентации прогрессирует в неопределенность.

Когда говорят: наше дело правое, что имеют в виду? Сторону правой, более сильной руки, право силы? Но ведь слева — сердце, традиционный источник любви и милосердия. Далее: dexter — прямой, правильный, правый, мужской, небесный; sinistre — диагональный, извилистый, левый, зловещий, женский, земной. Так? Да, при полярной ориентации, нет, при солнечной. Однако ориентаций «словно звезд на небе». Что это значит в данном, «геральдическом» случае? Поскольку геральдика — вариант эзотерической геометрии, а следовательно наука отвлеченная, не отдается предпочтения ни одной стороне со всеми ее ассоциативными эманациями. Поэтому «черное и белое, левое и правое» не окрашено никакими этическими индикаторами. Но хотя геральдика сама по себе нейтральна, разные выводы, психологические в том числе, делать не возбраняется.

Для характеристики ордена Тампль небезынтересны два предания касательно качественного изменения биколора штандарта. Первое относится к двенадцатому веку и к легенде о Персевале. Рыцарский итинерар (путь) молодого Персеваля начинается по первому снегу беззвездной ночью — он замечает три пятна крови на снегу — три алых сердца.

В середине тринадцатого века штандарт модифицирован: декстер сменяется синистром — прямоугольник пересекает диагональ, предание меняется: за слепым всадником на белой лошади неотвязно следует двойник: слепой всадник на белой лошади погружается в черную реку.

«Босэан»(Bausseant, Baussant) не «название» штандарта, но девиз и боевой клич. Литература о тамплиерах дает более или менее удачные расшифровки, однако необходимо заметить: «смысл» играет в девизе четко выраженную последнюю роль. Согласно трубадуру Жоффре Рюделю (XIII в.): Bo Seant в переводе на латынь с языка «ок» означает Sancta Rosa, Святая Роза. Тамплиеры и Данте так называли Прекрасную Даму.

Тампль скорее военный, нежели монашеский орден, поэтому имеет смысл поговорить о мужской марсиальной инициации.

Сейчас довольно трудно представить образ мужчины-воина. Известный историк Арнольд Тойнби в книге «Воин и солдат» попытался это сделать по разрозненным отрывкам из Геродота, Тита Ливия, Тацита, Диона Кассия. При самых разных обрядах инициации имеется в виду достижение одной цели: оторвать юношу от материнского притяжения, развить индивида, независимого от телесных страданий, наслаждений, голода, холода, тепла и сытости; сожалений о прошлом и надежд на будущее; от чьих угодно мнений. Надобно, чтобы молодые люди, выбранные воинской судьбой, отличались великолепной ориентацией в походе и битве, не нуждались в собственности, не реагировали на соблазны мира сего, довольствовались двумя, тремя лепешками в день. Все это давалось жестокой магической инициацией, не имеющей отношения ни к выучке, ни к тренировке. Несмотря на некоторое сходство, воины Спарты, отборных легионов Цезаря, Тита, Траяна принципиально отличались от прусских юнкеров или английских джентльменов

отсутствием правил и кодексов. Ни «хладнокровия», ни «презрения к смерти». По весьма простой причине: античность вообще не имела понятия о смерти.

Война в те времена имела несравненно более глубокие основания, нежели впоследствии, в силу пантеистической сакральности жизненного пространства. Конфликты в пределах одного ареала вызывались междоусобицей богов, внешние войны — экспансией своих или чужих богов. Война грозила космосу-отцу и матери-земле, священным источникам, лесам, монолитам, обитателям стихий. Другие народы и расы не просто «другие», это враждебные орды подвластные неведомым божествам неведомых созвездий-архипелагов бесконечного Океаноса, по которому плавали когда-то великие герои — Геракл, Язон, Беллерофонт.

К началу новой эры космография утратила свободу, «двери перцепции» (Уильям Блэйк) стали понемногу закрываться, звездное небо отделилось от земли, беспредельный Океан превратился в зажатые материками «водоемы» Страбона и Птолемея, «умер великий Пан». В сущности, это конец «железного века» и начало иудео-христианского небытия: «плачьте, дети, ваш отец умер»[1]. Плотин это выразил так: *«Вечно возбужденный фаллос Гермеса перестал извергать сперматические эйдосы на землю-мать, которая стала оплодотворяться собственными источниками.»*[2]. Так постепенно выродились «дети Отца» в сакральном пространстве греческого и римского мифа.

В сыновьях матери-земли (раса Антея) нет тайного формирующего огня, потому непригодны они для мужской инициации. Появилась смерть — зловещая неизвестность, распад в ничто, в лучшем случае робкая надежда на милосердие высших сил. Сыновья матери децентрализованы, постоянно озабочены источниками жизненной энергии и живут по принципам: «иметь», «надо», «приобрести». Отсюда «очевидные истины»: жизнь — борьба, жизнь — конкуренция, жизнь то да се... получается, жизнь от живого человека отделена. Децентрализация лишает индивида индивидуальности, он уже не суть нечто целостное, но часть «иного» и все необходимое вынужден заимствовать у этого «иного».

Земная мужская сперма не формирует, но лишь стимулирует женскую материю — потому рождаются и

вырастают сыновья матери, беспокойные, тщеславные, жадные, беспощадные и совершенно беспомощные вне сферы какого-либо авторитета. Если раньше «блага земные» попирались танцующими ногами, в середине первого тысячелетия превратились они в самоцель. Из-за ярко выраженной децентрализации, мужчины стараются избегать боли в стремлении к наслаждению. Резко увеличивается роль женщин в политике и семье, сакральная проституция заменяется «обычной», запрещенной языческим ритуалом. Удовольствие, радость, наслаждение превращаются в противоположность страдания, раздробленность бытия катастрофична.

Иудео-христианство патриархально только по видимости: мать и дитя, женские добродетели — отзывчивость, заботливость, милосердие акцентированы чрезвычайно. При этом ситуация мужчины весьма негативна в непосредственной ассоциации библейского змея и фаллоса. Уже в первые века христианства монахи называли пенис «цепным псом», дьяволом или «аггелом сатаны», которого надобно укрощать постом и терзанием плоти.

В подлунном, «низшем» мире, меж двух великих матерей — Луны и Земли — роль мужчины вторична в принципе. Вот что сказал Николай Кузанский в книге De conjecturis (О предположениях): *«В низшем мире неделимость вырождается в делимость: единство неделимой формы теряется в делимой природе, постоянство теряется в непостоянстве, бессмертие в смертности, акт в потенции, мужское начало в женском.»* Ряд подобных оппозиций легко продолжить: идея распадается в релятивизме, целое в аналитике, прекрасное в хаосе, индивид в социуме. Вывод: «небесное» теряется, распадается в «земном».

Институт рыцарства задуман ради возрождения автономии мужского начала. Необходимо устраниться от проклятия собственности, от привязанности к благам земным, от слишком тесного общения с женщинами, устраниться спокойно, без нарочитого аскетизма или презрительной улыбки. Здесь возможно отчуждение, поклонение, то и другое вместе, ибо на каждой женщине — отсвет Девы и Прекрасной Дамы.

Ситуацию тамплиеров много толковали и разъясняли, ибо архивные данные блистают противоречиями,

несуразицами, белыми пятнами. Нет уверенности почти ни в одном важном документе — и устав, и проповедь святого Бернарда, скорей всего, апокрифы XV-XVIII веков. Каждый историк, каждый оккультист, каждый романист излагает свою версию событий, ярко окрашенную личными симпатиями и антипатиями. Потому имеет смысл заниматься достоверными фактами. Это геральдические и символические «факты». Кроме штандарта «Босэан», достоверны: алый крест о восьми финах, Пресвятая Дева и загадочный теоморф, именуемый Бафометом.

Согласно Лейзегангу, Гранту и Джонасу — специалистам по христианскому гнозису — Бафомет — «десятый эон» барбело-гностиков, андрогинное божество, статуарно проявленное высокой, стройной, плавной фигурой, от щиколоток до горла обвитой спиральной огдоадой змея Океаноса. Слово «Бафомет» и его анаграммы дают десятки значений на греческом и еврейском. Атанасиус Кирхер в «Эдипе Египетском» расшифровывает даже коптское значение, но к этому автору следует относиться сдержанно. Пауль Лейден в «Греко-еврейском филологе» считает Бафомета андрогинным единением Девы и Сына, что любопытно и весьма правдоподобно[3]. Клод де Сент-Мартэн полагает: Бафомет — центральное божество conjunctio oppositorum тамплиеров, небесной равноценности «левого и правого», «черного и белого», «доброго и злого». Второй по значению горфалон (боевой штандарт), называемый «Бифур» составляют два латинских креста: на первом плане — белый, на втором — чуть смещенный, черный: это не тень белого креста, но автономный символ. Подразумевается качественное, формальное равенство «жизни и смерти», «зеркала и отражения», «монаха и воина», «активности и потенциальности».

Символика алого осьмиконечного креста обширна, мы коснемся лишь нескольких аспектов. Любой символ предлагает три метода познания: созерцательный, аналитический, тайно суггестивный. Как вполне правильно отметил Луи Шарпантье, в организации тамплиеров преобладал дуальный принцип — они даже редко путешествовали в одиночку. Особенно это сказывалось в боевом искусстве: группа всадников, направляясь к противнику, раздваивалась, что разрешало фланговые

атаки и разнообразные маршевые эволюции. Попадая в окружение, дивизион выстраивался на манер осьмиконечного креста.

Пурпур данного символа объясняется по-разному. Крест имел подобную окраску от «регул Девы Марии» согласно барбело-гнозису и сатурниловой ереси (menstruum universalis в алхимии). Тамплиеры обычно прочитывали надпись на кресте Спасителя (I N R I) как Integra Natura Renovatur Ignis, то есть: «огонь обновляет природу в целом».

Дева, Прекрасная Дама, Богоматерь — нарастание женских эманаций к центру, который назывался Христос-Андрогин и часто идентифицировался с Бафометом. Более того: инициация тамплиеров имела целью пробуждение «правого сердца» - без такого пробуждения мужчина так и останется «сыном матери». Каде де Гассикур, знаток эзотерической геральдики, объяснил ситуацию так: *«Левое сердце — чаша — символ луны и Девы; правое — копье. Символика Грааля очевидна. Три капли крови, замеченные Персевалем на снегу, символ дефлорации Девы. Пробуждение «правого сердца» при обряде посвящения сопровождалось появлением трех капель крови на левой стороне груди».*[4]

«Сражайтесь, храбрые рыцари! — восклицают герольды в романе Вальтера Скотта «Айвенго». — *Человек умирает, а слава живет! Сражайтесь! Смерть лучше поражения! Сражайтесь, храбрые рыцари, ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги!»*

Это пустая болтовня для скептика и материалиста.

На вполне разумные доводы Ревекки касательно суетности славы Айвенго отвечает так: *«Тебе хотелось бы потушить чистый светильник рыцарства, который только и помогает нам распознать, что благородно, а что низко. Рыцарский дух отличает доблестного воителя от простолюдина и дикаря, он учит нас ценить свою жизнь несравненно ниже чести, торжествовать над всякими лишениями, заботами и страданиями, не страшиться ничего, кроме бесславия. Ты не христианка, Ревекка...»*

Что же такое рыцарская честь в понимании мистическом?

Максим Исповедник, Иоанн Скот Эриугена и другие схолиасты-неоплатоники, вслед за Ямвлихом и Сине-

зием, разработали учение о субтильном «теле квинтэссенции», не подверженного, подобно физической плоти, распаду и тлению. Его «эйдолон» таится в «правом сердце», обеты и добродетели суть методы культивации этого эйдолона или небесного сперматического логоса. При его пробуждении начинает вырастать внутреннее пространство квинтэссенции или «тело души» (так как душа состоит из четырех элементов, только более субтильных — похожее воззрение в индийской системе «санкхья»).

Этот эйдолон, этот логос — Христос мистического христианства, эта круговая квинтэссенция — Дева Мария, Наша Дама. Вот почему называется она «дамой сердца» рыцарей-монахов. Подобное пробуждение дает постоянное ощущение настоящего момента и так называемое «интеллектуальное чувство», позволяющее, среди прочего, мгновенно принимать решение. Здесь преодолевается гибельный разрыв между жизнью рациональной и сенситивной. Но душа рациональная (anima rationalis) круговой функциональностью квинтэссенции ставит четкую дистанцию меж собой и земным миром и дистанцию нарушать нельзя. Поэтому.

Что простительно Квентину Дорварду, непростительно Бриану де Буагильберу — посвященному рыцарю, ибо он дистанцию нарушил. Земная женщина — ее имя, внешность, даже слухи о ее красоте — может вызвать резонанс, активизировать пространство Прекрасной Дамы... и только. Упаси Боже попасть в сферу ее притяжения; сказано в «Экклезиасте»: *«Я смотрю на мир глазами своей души и нахожу женщину горше смерти. Она есть охотничий силок, ее сердце — клетка, ее руки — цепи.»*

Удивительным колоритом «amar» окрашено стихотворение Александра Блока «Влюбленность». Отречение от земной тягости, сублимация «тела души», чувство вселенной более высокой выражено родственным «amar» словом «влюбленность».

Королевна жила на высокой горе.
И над башней дымились прозрачные сны облаков.
Темный рыцарь в тяжелой кольчуге шептал
о любви на заре
В те часы, когда Рейн выступал из своих берегов.

Над зелеными рвами текла, розовея, весна.
Непомерность ждала в синевах отдаленной черты.
И влюбленность звала — не дала отойти от окна,
Не смотреть в роковые черты,
Оторваться от светлой мечты.

Времени, расстояния, постоянства не существует. Свободный живой простор героики, роскошное любовное томление, плавное, дивное легкомыслие в «прозрачных снах облаков». Но эта воздушная в оттенках холода страсть достигается беспощадным, мучительным усилием. Вселенная этой страсти кипит враждой, войной, багряно-золотой исступленностью загадочного порыва:

Не смолкает вдали властелинов борьба,
Распри дедов над ширью земель,
Но жестока Судьба: здесь — мечтанье раба,
Там — воздушной влюбленности хмель.

И в воздушный покров улетела на зов
Навсегда...

О, Влюбленность! Ты строже Судьбы!
Повелительней древних законов отцов,
Слаще звука военной трубы!

Здесь и Там несоединимы, мечтанье раба о блаженном расползании в женском теле оппозиционно влюбленности, нелепо угадывать в морде базарной шлюхи черты Прекрасной Дамы. Дикая мысль о «совпадении противоположностей», положенная в основу христианской диалектики, неисчислимые бедствия принесла. Трудно не заметить кошмарного аспекта мистерии Христа. Зачем и ради кого Богу воплощаться человеком и позорно издыхать на кресте? Ради подлого человеческого месива, которое не живет, а копается в геологии «ничто»? Спасти, вызволить душу из оков бренного мира нельзя, можно дать ей познавательный импульс. И потом: какая «душа» у этого людского скопища, анимированного стихийной турбуленцией?

Бог мученической смертью спас всех, потом оказывается не всех, но только рабски преданных церкви-матери — кому нужны все эти абсурды кроме власть имущих?

Луи Шарпантье восхищается цивилизаторской и «хозяйственной» деятельностью Тампля. Если это так, значит тамплиеры стали жертвой «темной стороны» добродетели: милосердие, милостыня весьма необходимы для нормальной функциональности индивида, но «умному сердцу» надобно избегать соучастия в суматохе нищих, голодных, страждущих — тут Ницше сто раз прав. Материя это «лишенность»(privatio), дети матери нуждаются всегда. Хорош был бы Геракл в заботах об Антее.

Сыновьям отцов не пристало иметь дело с «маменькиными сынками».

2001

Примечения

(1) Валерий Флакк
(2) Эннеады, 3,7
(3) Leiden, P. Philologus hebraegraecus, 1739, p. 166.
(4) Cadet de Gassicour. Les Templiers et Graal, 1895, p. 22.

Артюр Рембо и открытая герметика

(две гипотезы)

I. Море

Стихотворения и поэмы в прозе позднего Рембо отличаются главными атрибутами качественных герметических текстов: они интонационно энергичны, изощренная композиция оставляет впечатление плаванья и полета; их темнота притягивает чуждой глубиной, дразнит мерцанием ложно разгаданных смыслов. Так писали Рабле, Шекспир и Сирано де Бержерак, так строили свои

произведения французские эзотерические поэты XVII века — Бероальд де Вервиль и Эсто де Мюизман. Парадоксальная ситуация герметики: открытая закрытость и веселая таинственность. Это соответствует многообразным занятиям Гермеса: в качестве ироничного торговца он «обращает драгоценности в угли» (Павсаний); в качестве ловкого вора демонстрирует тщету всякой собственности; под видом нищего старика ведет кандидата сквозь ужасы элевзинской пещеры; в роли Трисмегиста он, ветер, придает пневматический смысл работе с материей. Гермес может отчасти или полностью совпадать с Дионисом и Аполлоном, равно как Гестия — с Деметрой и Реей. Он — дьявол иудеохристианской догмы, шут, чья двуцветная одежда с вертикальной полосой посередине символизирует вездесущность в пространстве и времени, а бубенчики на дурацком колпаке напоминают о вечной актуальности момента, он — Меркурий философов, «яд», убивающий все качества материи, кроме чистой потенциальности.

Проявленной амбивалентностью Гермеса объясняются две тенденции, а не конкретизированные школы. Приблизительно говоря, более и менее закрытая, центростремительная и центробежная. В первом случае, этот мир признается «лучшим из возможных миров» (Августин, Лейбниц), а человек — существом религиозным и Достаточно хорошо схематизированным.

Подобное воззрение предполагает креационистскую гипотезу, изначальную «устроенность» мира и функциональность человека в пространственно-временных условиях данной устроенности. При таких параметрах развиваются хризопея и спагирия (трансмутация металлов и минералов в золото и драгоценные камни, поиск эликсиров молодости и долголетия), равно как попытки учреждения царства Божия на земле. Это обусловлено арабской алхимией и медициной, христианской хилиастикой. Здесь языческий Гермес выступает в довольно скромной, однако существенно необходимой роли «великого магического агента» (Эпифас Леви), здесь человек, утвержденный в религиозных принципах, желает с помощью тайной мудрости приобрести нечто большее чем могут ему позволить законы природы.

Вторая тенденция отличается открытостью и центробежностью. Нет уверенности в законах природы и нет убежденности в креационистской иудеохристианской догме. Иегова не творец, но злой демиург, все теснее сжимающий мир ледяными кольцами времени, — так полагали некоторые гностики, катары и тамплиеры. В языческом неоплатонизме встречались аналогичные соображения. Росцеллин (IV век н. э.): *«Поистине ужасен змеиный век Алекто. Воспрял Пифон — иудейский Иегова, и неслыханную борьбу ведет с ним Аполлон, которого христиане именуют Люцифером».*[1] Весьма справедливое сравнение, ибо иудеохристианское «время» — категорическая рациональность — настигает человека в каждой точке бытия, опутывая догмами, обязательствами, суетливостью, целесообразностью, причем все это уживается с размышлениями об экзистенциальном абсурде.

Для неоплатонического герметизма проблематично решительно все: это естественно при отсутствии божественных Событий. Если человек не Ахилл, Геракл, Одиссей, Эней, его цепи и параметры вообще неопределимы, словом, в таком варианте, «человек» и «герой» синонимичны. Чтобы обрести реальность, то есть божественную реальность, надо выйти из под контроля злого демиурга, вырваться из жестоких пут времени. Речь, следовательно, об освобождении, а не о магическом улучшении бытия. Ситуация несколько напоминает арабскую сказку о Синдбаде в цепких объятиях шейха моря: Синдбад смог освободиться, только опьянив страшного старика виноградным соком. Итак: Гермес уничтожает онирические туманы прошлого[2] и вольно или невольно проектируемого будущего, утверждая напряженную актуальность момента. Слово «момент» в данном случае лишь эвфемизм, метафора непонятного субстантива. Категория времени в античном мире, несмотря на многочисленные исследования, остается весьма энигматичной. Сейчас невозможно представить живое переплетение изменчивых времен вне темпорального унитаризма. *«Время — ребенок играющий, ребенок на троне»,* — сказал Гераклит. И много позднее неоплатоник Сириан (IV век н. э.) добавил: *«Время — младенец богини Эос, он играет со звездами».*

Мы хотим процитировать одну из поэм Les Illuminations, которая называется «Заря». Этой цитатой

мы вовсе не желаем подтвердить возможные неоплатоновские увлечения поэта или эзотерический смысл поэмы — сообщения. Нелегкое и неблагодарное дело — уловлять художественный текст в тенета какой-либо доктрины и переводить мнимо зашифрованное в иллюзорно понятное.

Сближения, ассоциации, иллюзии...

Я раскрыл руки летней заре.
Еще не оживлены фасады дворцов. Еще недвижна вода. Теневая полоса еще не покидала лесной тропинки. Я шел в нежных и теплых дуновениях, в бесшумном взмахе крыльев, под взглядами
драгоценных камней.
Неизвестный цветок сказал мне свое имя. Это было в светлых и смутных бликах тропинки.
Я засмеялся — в пихтах плясал белокурый водопад. На серебристой пихтовой вершине таилась богиня. И тогда я поднял ее покрывала одно за одним. Проворными руками на аллее. На равнине возвестил петуху ее появление. Город. Она пропадала среди соборов, и я, как нищий, гнался за ней по
мраморным набережным.
В конце дороги, близ рощи лавров, я окружил богиню ее покрывалами и слегка почувствовал величавое тело. Заря и дитя упали к подножию рощи.
Пробуждение. Полдень.

(«Aube)»

За последние полвека стало ясно, что нельзя понимать под неоплатонизмом только реновацию Платона в духе Плотина, Ямвлиха, Прокла и Дамаскина. Углубленная работа над этими і классиками, открытие новых текстов Плутарха Афинского. Синезия и Присциана, изучение европейских неоплатоников от XV до XVIII веков — все это привело к выводу о невероятной сложности данного явления. Трудно классифицировать неоплатонизм, отделив его от орфики, гнозиса, мистериальных и теургических учений[3]. Чтобы не заблудиться в подобных дебрях, постараемся акцентировать два существенных положения: во-первых, неоплатоники смягчают дуализм Платона ступенчатой иерархией бытия — каждая ступень имеет

нечто от предыдущей и последующей; во-вторых, здесь особое значение получает эфирное (квинтэссенциальное) тело души, пространство пневмы, в котором присутствует или отсутствует тело материальное. Само собой разумеется, это резко меняет направленность активного познания: речь может идти не о «спасении души», но о чрезвычайно тонком отделении души от тела. Зачем? Прежде всего, надо немного познакомиться с концепцией «жизненного ума», пронизывающего любое материальное тело. В неоплатонизме нет «априорности» и «трансцендентности» в кантовском смысле: в космосе, то есть демиургически организованной части хаоса, все компоненты взаимосвязаны. Отсюда иерархически разделенная четырехчастная композиция души: душа небесная, рациональная, животная, растительная (anima celestis, rationalis, anima-lis, vegetabilis). После катастрофы (распри богов, в данном случае) и нарушения космической гармонии начался распад структуры микрокосма. Постепенное отслоение квинтэссенциаль-ной anima celestis привело к разрушению человеческой композиции. Человек, правда, может существовать и без anima celestis. Его разум (природный, жизненный) вполне способен корректировать его растительно-животные потребности и амбиции. По разум этот — природный эпифеномен, лишенный небесных эйдосов[4], подпадает под власть хаотических влечений и отталкиваний. Отсюда ощущение бессмысленности жизни и все возрастающее недоумение касательно роли и сущности человека. Действительно, вне влияния «единого», в режиме «иного» человеческую ситуацию можно трактовать сколь угодно широко[5].

Поэтому надо предоставить «умное тело» (Ямвлих) его собственной судьбе: его успехи и неудачи, любовь и ненависть, жизнь и смерть не должны беспокоить искателя; этот «лучший из возможных миров» контаминирован и разъеден энергиями хаоса, что исключает какую-либо сублимацию и перфекцию материального субстрата.

Но как это сделать и в какой перспективе?

При любой деградации в человеке остается семя сперматического логоса, forma in potencia, эйдолон. Плутарх Афинский называет это «неразрушимой точкой пересечения разума и чувства». Но для нас важна

концепция Синезия: фантазия есть световая сущность пневматического пространства небесной души, фантазия — «эстезия эстезий», ощущение ощущений, принцип и возможность восприятия, активный центр в пересечении ума и материи. (Нечего и говорить, насколько данная концепция противоположна современным воззрениям.) Синезий, один из классиков алхимии, именует сей «центр» или «неразрушимую точку» «философским золотом». *«Разбудив тайную энергию диона или философского золота, — пишет он, — можно вырваться из цианеи (иссиня-черная змеиная мгла) в светозарные пространства»*[6].

Итак, неоплатоническая «фантазия» первостепенностью своей отличается от поздних, даже самых смелых, трактовок. Это путь «открытого герметизма», игнорация унифицированного времени и унифицированной смерти. Гибель случается в процессе рассечения, разрывания, высасывания фрагментов космоса хищными порождениями хаоса (орк, ночь, цианея и т. д.). Материальный субстрат, теряя сульфурические и меркуриальные качества (цвет, энергию, блеск, гибкость, летучесть), превращается в инертный обломок (sal nitri). распадаясь в «царстве количества». Отсюда категоричность открытого (центробежного) герметизма, напоминающая ницшеанское «падающего надо толкать». И здесь, действительно, нет места «состраданию». Рацио, утвержденное на памяти, априорной упорядоченности и периодичности, обречено. В режиме алеаторических становлений вспоминать нечего и ориентироваться не на что. Эволюции, позитивы, оптимизмы — все это иллюзии воображения хтонического и бескрылого.

В данной интерпретации, воображение — средняя ступень между хтонической действительностью и фантазией — квинтэссенциальным светом пневмы. Воображение — поле битвы лунно-химерических проекций. Воображение оживляет, убивает, радует, печалит, комбинируя образы мира сего. Женская субстанция по сути своей, «черная лунная магнезия». Но «поэт воистину похититель огня», — сказал интересующий нас французский автор. Огня неоплатонической фантазии, в данной интерпретации. Неоплатоники IV—VI веков создали оригинальное учение о своеобразном «чистом восприятии», освобожденном от воспоминаний и суждений[7]. Основная теза примерно такова: люди и окружающая природа отпали от божественного миропорядка и, следовательно, возвращение возможно лишь «монадически»; человеку необходимо отринуть время и рациональный контроль над восприятием; это крайне опасно, однако терять в потерянном мире абсолютно нечего. Столь резкая оценка вызвана, вероятно, закатом языческой эпохи и отрицанием «христианского атеизма», по выражению императора Юлиана.

Чистое восприятие. Восприятие не вызывает ни воспоминаний, ни спонтанных реакций, ни оценок. Фантазия как неведомый центр неведомых координации. Миражи, сновидения, галлюцинации вытесняют привычную, более или менее стабильную реальность: *«Я приучил себя к простым галлюцинациям: я видел очень отчетливо мечеть на месте завода; школу барабанщиков, устроенную ангелами; коляски на дорогах неба... В конце концов, я признал священной путаницу в моем мозгу»*. (Une saison en enfer). Легко представить, к чему ведет подобный процесс: ко «всем формам любви, страдания, безумия». Уничтожение «я»? Но какого «я»? Эфемерной и чужеродной конструкции на сгустившемся до неподвижности тумане гипотез? Индивидуальное «я» нельзя уничтожить, ибо это лишь предчувствие, пустотная возможность, «черный силуэт на черном фоне» (И. Филалет).

Согласно неоплатонизму, после ухода небесных богов из человеческой жизни огненная пневма[8] перестала активизировать органы чувств. Постепенно акцентировалась *рецепция*, возобладала пассивность восприятия. Бесконечное многообразие мира стало сокращаться, сжиматься, динамически и колористически тускнеть. Растворение в земной материальности обескровило органы чувств и обусловило доминацию осязательности. Мы перестали видеть и начали, в известном смысле, осязать глазами.

Платон считал эффект видения результатом действия двух лучей: одного — идущего от зрачка к предмету, другого — от предмета к зрачку. Когда первый луч стал угасать, мир, мало-помалу теряя игровую изменчивость, застыл в категоричности весьма однозначной. Если расположить органы чувств по шкале элементов, получится

такая схема: зрение — эфир, слух — огонь, обоняние— воздух, вкус—вода, осязание — земля. Эта схема должна быть, прежде всего, подвижна, то есть: в человеческой композиции необходима некая активность элементов. Только при таком условии может возникнуть живое, всякий раз неожиданное окружение, стремительностью своих метаморфоз препятствующее выводам и оценкам. Но это легче сказать, чем сделать. Мы, европейцы, воспитаны в рациональных законах бытия, мир для нас — нечто структурно одинаковое. Мы убеждены, что звук распространяется воздушно-волнообразно, и что об одуванчик порезаться нельзя. Люди искусства не являются исключением. Спасая качественные оттенки восприятия, они оставляют незыблемой крайне спорную общую основу.

И здесь распознается нерв новаторского порыва Рембо. Он хочет уяснить, что такое поэт и почему он, Рембо, «хочет быть поэтом». Он начинает с «предварительного изучения», с «длительного, глобального и продуманного освобождения всех чувств». Надо децентрализовать мировоззрение, извратить христианскую «душу», «похоронить древо добра и зла», смыть дихотомию крещения кровью жертвенного быка. И тогда родится движение, брожение сперматического логоса, ничем не спровоцированное «опьянение», способное разорвать рациональные пути восприятия. Это — бунт против земной тягости, вызванный пробуждением квинтэссенциальной монады. Подобный разрыв должен быть безогляден и беспощаден, ибо дихотомия добра и зла, развитие и упадка, симметрии и асимметрии, жизни и смерти, пронизала всю человеческую рецепцию. «Освобождение чувств» не ограничивается расширением традиционной эстетики вводом компонентов отвратительного и вульгарного, это — оперативная сублимация, обусловленная герметическим «предварительным изучением». Стихийный, по видимости, процесс обоснован «методом», о котором протагонист только догадывается. Любая внешняя ось в данной конкретности мира уже таковой не является — отсюда стремление к собственной оси. Но сначала надо избавиться от наследственных и общественных законов восприятия, от канонов нравственного и безнравственного, прекрасного и уродливого. Это избав-

ление отмечено у Рембо драстической образностью («лилии — клистиры экстаза», «сопли лазури») и крайней диссонантностью:

Trouve, aux abords de Bois, qui dort,
Les fleurs, pareilles a des mufles,
D'ou bavent des pommades d'or
Sur les cheveux sombres des Buffles!
(Найди в преддверии спящего леса
Цветы, подобные мордам
Откуда сочится золотая помада
На зловещие волосы буйволов!)

(«Что говорят поэту касательно цветов»)

Можно возразить: причем здесь иная структура восприятия? Это юношеский вызов эстетике Парнаса, широкое понимание метафоры. Справедливо. Однако такое понимание уже предполагает волю к трансформации, предчувствие активизации внутреннего зрения. Метафора есть динамическая проявленность фантазии — принципа и условия восприятия. Пусть она выражается потоком несуразных видений, миражей, делиров. Чем скорей растают «точки опоры», тем лучше. «Метод» фантазии, опьянения, чистой беспредметной любви ведет в атмосферу странной, более или менее циклической системы эфирного тела, организованного дионом, философским золотом.

Устойчивая склонность к такого рода идеям означает веру в магическое знание далекого прошлого и отрицание стези предшественников непосредственных. Они, создавшие современное наполнение пространственно-временного континуума, утратили фаллицизм (эротически-интеллектуальную энергию, алхимический «белый сульфур») и превратились в «рабов рабыни» (Бодлер), в подданных земной материи вообще и земной женщины, в частности. Земная женщина, равным образом, утратила небесную ктеис (гармонически организующую озаренность, алхимический argentum vivum). Она перестала быть мужчине матерью, женой, сестрой (Исида — Осирис) и превратилась в зловещий сексуальный фантом, в прагматическую химеру. «Ад женщин там, внизу» (Une saison en enfer). Но, для реализации алхимического ре-

биса, мужчине — разъятому, рассеченному, распыленному — необходимо найти, магнетически привлечь небесное, концентрирующее женское начало, «нашу Диану» или, согласно Рембо, «нашу мать Красоту».

Снег. Вздымается высокая Сущность Красоты.
Свист смерти. В кругах глухо рокочущей музыки
расцветает и вибрирует словно спектр (призрак)
это пленительное тело. Багряные и черные раны
вспыхивают в ослепительной этой плоти. Живые
колориты пересекаются, танцуют, расширяют-
ся вокруг Видения на месте создания. Вибрации
возбуждаются, вздымаются, неистовость этих
эффектов смешивается с гибельным свистом и
хриплой музыкой, которые мир, далеко позади нас,
обрушивает на мать, нашу мать Красоту, — она
отступает, она разрастается.
О! Наши кости в одеянии нового тела любви...

(«Les Illuminations. Being beauteous»)

Совершенно ясно, что здесь нечего и думать о каких-либо рациональных объяснениях. Очевидно следующее: это не поэзия «воображения», комбинаций оригинальных впечатлений от довольно стабильной действительности, это — опыт фантастической трансформации восприятия в неоплатоническом смысле[9]. Герметическая интерпретация — смутное и сложное отражение энигматического текста.

Что происходит в поэме? Фаллическое рождение экстатического женского силуэта, вызванное активностью сперматического логоса. Авиценна так поясняет ситуацию: *«Когда мужская сила вздымает стебель, одновременно сжигая корни, и стебель доходит до срединного положения между небом и землей, наша белая лилия просыпается и раскрывается»*[10]. Надо сказать несколько слов о «мужской силе», дабы избежать двусмысленности. Обычный пенис пассивен и, словно компасная стрелка, притягивается женской плотью. Имеется в виду солнечная фаллическая ось эфирного тела (охемы), которая только в очень редких случаях проходит через тело физическое. Поэтому говорить о сходстве неоплатонической алхимии с кундалини-йогой или даосизмом следует весьма осторожно.

Ураническая сперма предназначена для рождения лунного женского тела в композиции андрогина. «Стебель», пробив земную плотность, достигает сферы лунного холода (белой магнезии). Огненно поляризованная сперма превращается в снег, а затем в кристаллические листья (terra foliata). В страстной борьбе огня и льда возникает зловещая фигура мертвенно белой женщины (нашей Дианы). Это крайне опасный момент: если процесс прекратится за отсутствием дионисийского огня, оператора ждет судьба Актеона. Если же процесс будет продолжен, «наша Диана» обретет жизненный колорит и раскроется для алхимического коитуса (mysterium conjunctionis): дионисийский огонь соединится с «молоком девы».

«Все формы любви, страдания, безумия» характеризуют открытость герметического поиска. Трудно преодолеть фатальную избирательность восприятия. Здесь не помогут стимуляторы — после прекращения их действия восприятие становится еще более пассивным, чем прежде, а человек — еще более зависим от внешнего мира. Но подобная зависимость еще не самое страшное — куда опасней психологическая паутина, в которую мы запутаны изначально. Нормативные оси в данной области более туманны, нежели в мире физическом и более определены «духом Бремени» и социальной политикой группы.

В своей известной работе «Проблема мистики и ее символика» (1915) Ганс Зильберер проанализировал опасности, связанные с поиском такого рода. Согласно этому автору, каждому «анагогическому аспекту» соответствует «ретроградный аспект». Он интересно рассуждает о психических девиациях, почти неизбежно сопутствующих мистическому и религиозному зкстазу, о «воображаемом достижении философского камня», о буквальном понимании инцеста и об угрозе интенсивной интроверсии. Зильберер желает сохранить чистоту мистического порыва в эпоху технического варварства, бесчисленных невропатий и комплексов. Он еще верит в какие-то нормативные оси: в христианство, в психическое здоровье, в духовную эволюцию и т. п. Из вышесказанного ясно, что это не соответствует поиску открытой герметики — в условиях подобного поиска наша индивидуальность и ее внешний мир распадаются в грезах, виде-

ниях и миражах. Если достанет сил избавиться от контроля над восприятием, появится шанс на... исследование: мы сможем проследить сложную циклическую связь наших воображаемых манифестаций. Это математика круговых волн, провозвестие «философского моря», где исчезновение или материальная конкретизация объектов свершается в разрежениях и сгущениях (dilatation, dissolution, concentration, solidification). Как только органы чувств активизируются, в приближении к своему неведомому центру (фантазии), начинается освоение нового, более тонкого, нежели физическое тело, материального субстрата. В алхимии это символизируется морской звездой или коралловой ветвью. Бернар Тревизан (XV век) следующим образом описал процесс: *«Я видел без помощи глаз, слышал без помощи ушей и не ощущал своей субстанции, пока волна не колыхнула меня, словно коралловую ветвь. Я видел одновременно глубину и высоту, и все стороны света и видел, как прежнее тело удалялось к черному холму».*[11.]

Это напоминает рассуждение Ямвлиха о «философском отделении души от тела». Отличие «открытой» герметики от «закрытой» налицо. В «герметическом закрытом» сосуде душа (mercurius vivum, humiditas radicalis, vitriolum) под действием дионисийского огня (тайный фермент, ios) поднимается к верхнему своду» и «ниспадает дождем» на очищенное этим огнем тело (distilatio). Композиция (человеческая, минеральная, вегетативная)[12] благодаря контакту с «фирмаментом» (верхним сводом) обретает небесное (квинтэссенциапьное) качество, ибо дистилляционная реторта, в известном смысле, копирует макрокосм. Вернее, копировала, когда внешний мир еще назывался макрокосмом или «космическим яйцом»[13]. Без такого убеждения, без его интеллектуальных следствий, ныне трудно уловимых, совершенствование физического объекта путем трансмутации не представляется возможным.

В «закрытой» алхимии царит принцип аналогии: золотая ось гармонически устроенного космоса отражается золотой частицей в каждом объекте. Это необходимое условие трансмутации или творческой эволюции объекта. Но когда небесная твердь раскололась и раскрылась энергиями «бесконечной вселенной», положение

изменилось радикально. Уже нельзя соблюсти принцип космической аналогии, так как нарушились или исчезли соответствия между звездами, стихиями и данностями физического мира. Люди, звери, минералы, растения утратили магические свойства в скользящих, изменчивых, непредсказуемых акциденциях. Жизненный путь перестал соответствовать предназначению, материя — форме, манера поведения — психологической схеме, имя вещи — ее функциональности. Ситуация недурно интерпретирована в сюрреалистической живописи, например, в картинах Рене Магритта, где под зонтиком написано «кларнет», а под чемоданом — «веер».

Этот ядовитый климат убил не только хризопею, но и христианскую алхимию, поскольку потеря телеологической перспективы существенно ослабила веру в универсальную панацею или философский камень. Но если христиане датировали вселенский катаклизм приблизительно концом средневековья[14], то для языческих гностиков и неоплатоников это не было новостью уже в начале христианской эры. Однако нам, живущим на закате двадцатого века, безразлична дата катаклизма, ибо все более обостренно чувствуется его атмосфера и ясная безнадежность существования. Даже если люди пожелают изменить ситуацию и зажить по традиционным заветам — не получится ничего: планета перешла во власть автогенетических механических систем, использующих человеческий мозг как передаточное устройство.

Открытая герметика предполагает возможность инициатического путешествия, безвозвратного вояжа. Эскиз подобного путешествия вполне угадывается в «Пьяном корабле», хотя в финале стихотворения корабль сожалеет о «старых парапетах Европы» и, так или иначе, поворачивает на земной курс. Его «опьянение» обусловлено уничтожением экипажа — это, не особенно форсируя текст, можно соотнести с прекращением действия направляющего, сугубо земного рацио. Корабль, преодолевая земной диктат, попадает в необычный океан, в сферу иного стихийного элемента — «алхимической воды». Это иная вселенная, недоступная измерению согласно полюсам и эклиптике: ее материки и острова не имеют постоянных очертаний, ее качественная беспредельность исключает какое-либо точное познание. Однако это не трансцен-

дентная вселенная — здесь «земля» постепенно уступает инициативу «воде». (В «Морском пейзаже» два стихийных элемента смешиваются до неразличимости). Нарастающая повелительность «воды» освобождает энергии «воздуха» и «огня», позволяя небесным эйдосам плодотворно проникать в более гибкую и динамическую потенциальность. Воду «живого океана Посейдона» (Прокл) отличают особенные свойства: Она может увлажнять и не увлажнять кожу, ее можно резать ножом, погружать руки в ее поток, словно в лебяжий пух; ее дождь рассекает тело, смывая следы времени и страданий; струи ее фонтанов зависают в воздухе, образуя в огненной пене тяжелые тысячецветные радуги[15] «Пьяный корабль» блуждает «...в Поэме Моря, молочно-белой, пронизанной звездами», где стихийные элементы древней космогонии рождают немыслимые, головокружительные пейзажи. Небо, ночь, серебряные солнца, перламутровые волны, ледники — все это переплетается и растворяется в медленных ритмических циркуляциях, расходящихся от неведомого сердца этой вселенной. Небо, небеса — много неба, много небес. Миновав «невероятные Флориды», корабль, «свободный, дымящийся», поднимается из «фиолетовых туманов» и «пробивает, как стену, багровое небо». Проступают «звездные архипелаги и острова, чьи безумные небеса открыты плавному полету», — периферия огненной пневмы, приближение алхимического золота[16].

Корабль назван «вечным прядильщиком голубых неподвижностей» — этот великолепный образ не лишен известной точности: Ириней Филалет писал, что близ «золотой оси» концентрируется «голубая пустота». Но вояж продолжается: ураган забрасывает корабль в «эфир, где нет птиц», на границу «бездонных ночей». Далее невозможно проследить ориентацию алхимического поиска. Отсюда — вопросительные строки: «Не в этих ли бездонных ночах ты сокрыта, грядущая мощь — миллион золотых птиц?». Это резонирует с одним из алхимических афоризмов: «aurum nostrum aurum avis est» — «наше золото — птичье (летучее) золото».

Конец стихотворения, в известной мере, печален: корабль возвращается в земное море и жалуется на судьбу, встречая груженые хлопком суда и каторжные понтоны. Но это касается другой линии в многозначности произведения, так как в герметическом процессе нет успехов, неудач, расцвета и гибели. «Пьяный корабль» распадается, словно «Арго», но инициатическое путешествие не завершается.

II. Афродита Анадиомена

Подобно любому европейцу нового времени, Рембо не мог не чувствовать колючего беспокойства в христианской ситуации бытия. И дело даже не в том, что «жить по Евангелию» способен только святой, и что христианство безмерно завысило планку для этического прыжка. Дело в признании этических максим основополагающими, центрально смысловыми, насущными для всех. Правила поведения и контакта человека с людьми, любовь, благо, — словом, специфические эманации органически развивающейся индивидуальности, христианство сводит к более или менее единой парадигме.

Этика — следствие эстетики, следствие метафизического учения о красоте и гармонии макро и микрокосма, так, по крайней мере, считали в античную эпоху. При нарушении эстетической гармонии, т. е. квинтэссенциальной целесообразности структуры, невозможно и нелепо говорить о каком-либо этическом совершенстве. Но необходимо иметь представление о красоте и гармонии, прежде чем исследовать причины искажений, а представление это никак нельзя редуцировать к традиционной схеме «прекрасное — уродливое». Христианство пренебрегает физическими красотами, отдавая предпочтение «моральному совершенству души». Но что это за душа? Отринув стоико-платонические воззрения, христиане предложили в качестве «души» туманную смесь позитивных и негативных энергий, борьба которых определяет конечный взлет или конечное падение. И проблематичный центр этой туманности отравлен наследственным чувством вины и страха. Человек виновен во всем: в грехопадении, в потопе, в Голгофе. Поэтому он, если символически трактовать данные события, должен страшиться эротики, свободного плаванья, авторитета и уничтожения авторитета. Христиане толкуют о первородном грехе, искуплении, спасении души, любви к ближнему, предлагая принять «на веру»

главные догматы, ибо теологи не могут дать всему этому разумное объяснение. Обычный аргумент о несоединимости разума и веры убедителен, если под разумом иметь в виду рациональное мышление: однако экстазы и завоевания веры должны подтверждаться логической интуицией, острым пониманием иерархии, бытия[17]. И здесь возникает много сомнений. Христианская иерархия мироздания, созданная Дионисием Ареопагита и Августином в тенденции неоплатонизма, не оказала особого влияния на христианскую религию и осталась в сфере теологичесой мысли. Почему? Потому что возможность такой иерархии проблематична: оппозиция «тело—дух» не разрешается здесь никакими срединными ступенями. Теофания Христа, невероятность «богочеловека» явилась «коротким замыканием», космической катастрофой. Задолго до Коперника землю выбили из-под ног человека и разверзли пропасть трансцендентности между физикой и метафизикой. Жертвы этой катастрофы: anima mundi — оживляющая космос мировая душа, душа индивидуальная, организующая человеческий микрокосм. Поэтому европейцы напрасно обвиняют друг друга в субъективизме и эгоизме: европейский человек может создать индивидуальность только вопреки христианской догматике. Нельзя же, в самом деле, назвать «индивидуальной» рациональную политику материального тепа, которое, стыдясь своей атрибутики, укрываясь от трансцендентного бича, застенчиво или дерзко пытается манифестировать греховную жизненность.

Либо... либо. Жизнь или христианство? Эти мучительные размышления отразились в «Une saison en enfer», в известном плане, самом «страстном» произведении Рембо.

Утро

Не был ли я когда-то слишком удачлив, не радовался ли сказочной и героической молодости, достойной записи на золотых листах! Какое преступление, какое заблуждение довело меня до нынешнего бессилия? Вы, полагающие, что звери плачут от горя, что больным свойственно отчаяние, что мертвые дурно спят, попытайтесь рассказать мое падение, мой сон. Поскольку я теперь объясняюсь не лучше нищего, который беспрерывно бормочет Pater и Ave Maria. Я разучился говорить. Однако сегодня, я верю, закончилось мое сообщение об инферно. Это был истинный древний ад, его двери раскрыл сын человеческий.
В той же пустыне, в той же ночи вновь и вновь пробуждает глаза серебряная звезда. По теперь это уже не радует властителей жизни, трех волхвов — сердце, душу, разум. Когда же — по ту сторону хребтов и песков — мы будем приветствовать начало новой работы, новой мудрости, бегство тиранов и демонов, конец суеверий... будем приветствовать — первые! — Рождество на земле!
Небесный хор, процессия народов! Рабы, не кляните жизнь.

(«Une saison en enfer. Matin»)

Не стоит особо доверять эмоциональной ангажированности текста. Искренность поэзии, сомнительная даже в ее лучшие времена, совершенно развеялась в постромантическую эпоху. Междометия, восклицательные знаки, ритмические перепады, страстные интонации — все это стилистические приемы, компоненты сложного вербального динамизма. Однако идеологический комментарий позволяет выделить более или менее ощутимые смысловые данные.

Слово «сезон» (une saison) обозначает у Рембо и время года, и неопределенный срок пребывания где-нибудь. В данном случае «пребывание в аду». Любопытный поворот алхимической ситуации: когда-то герметик специально добивался хаотического, черного режима для внутреннего мира и вещества, — теперь подобное состояние достигается без всяких усилий.

В произведении фиксируется трагическое пересечение художественного и реального «я», броски и прыжки птицы, погибающей в буржуазных силках филистерства, конформизма, прогрессизма. Отсюда разорванные ритмы, автосуггестии, фасцинации, отвлеченное и напевное раскаяние, жажда бегства, надежда на эффективность экзотических декораций.

Ибо Европа стала адом, двери которого «раскрыл сын человеческий». Христианство до крайности упростило многообразную активизацию вселенной, объявив «преступной» эротическую взаимосвязь всего сущего, низведя принцип метаморфозы до уровня содомии и ли-

кантропии. Исчезли антропоморфные этносы, когда-то объединявшие людей со всей остальной природой. «Умер великий Пан», и природа опустела, покинутая наядами, дриадами, фавнами и множеством иных «порождений языческой фантазии»[18]. Со временем европейцы акцентировали свою белую исключительность и принялись просвещать, укрощать, обрекать на гибель всех, кто был не согласен с христианским монотеизмом и антропоцентризмом.

Центр — понятие опасное, легитимное только в области умопостигаемого неба. Центр, проявляющийся в форме чего-то конкретного или достижимого, расшатывает или губит окружающее своей непредсказуемой функциональностью. Вот почему боги — центры гармонически устроенного космоса, влияют на земное бытие посредством сложной иерархической системы. По закону герметической аналогии, умопостигаемые божественные прерогативы (вездесущность, всемогущество, абсолютное знание) резко изменяются в земной материальности, где центробежная (мужская) энергия подчинена центростремительной (женской) энергии захвата, завоевания, приобретения. Поэтому догматическая церковь, примечательная женской спецификой религиозности, названа в «Une saison en enfer» «вампирической королевой миллионов душ и мертвых тел»[19].

Прощание
Осень! Но зачем сожалеть о вечном солнце, если мы вовлечены в открытие божественного сияния, далеко от людей, подверженных времени, смерти, судьбе.

Осень. Наша барка вздымается в недвижных туманах, поворачивая к порту нищеты, необъятный город, небо исполосовано грязью и пламенем. Ах! гнилые лохмотья, дождем пропитанный хлеб, пьяный дурман, тысячи влюбленностей, рассекающих, распинающих меня! Неужели не сгинет она — вампирическая королева миллионов душ и мертвых теп, которые будут судимы! Я вновь и вновь вижу себя среди них, чуждых, бесчувственных: тело изъедено струпьями, черви вгрызлись в плоть, самые хищные — в сердце... Какой ужас — умереть там... леденящее видение! Будь проклята нищета!
Но меня пугает зима, ибо зима — сезон комфорта!
— Мне случается видеть в небесах бескрайние берега и счастливые толпы белых людей. Над моей головой — золотой корабль, утренний бриз беспокоит яркие вымпелы. Я творил все феерии, все драмы, все триумфы. Я пытался изобрести новые цветы, новые звезды, новую плоть, новые языки. Я верил, что обрел сверхъестественное могущество. Увы! Надо похоронить мои миражи, мои воспоминания! Поэт, сочинитель восторженных сказок — слава хоть куда!
Я! Ангел, маг, свободный от всякой морали, брошен на шершавую землю реальности искать себе занятие. Пахарь!
Не заблуждался ли я? И будет ли милосердие сестрой смерти? Для меня.
Что ж! Я попрошу прощения за свою кормилицу — иллюзию. В дорогу.
Ни дружеской руки, ни участия. Откуда ждать помощи?

(‘Une saison en enter. Adieu»)

Эти строки шире лирической автобиографии и личной драмы поэта. Здесь отражен принципиальный онтологический разрыв поэзии с позитивистским жизненным методом. Пути художественного и реального «я» разошлись окончательно. Это соответствует общему процессу отделения «неба» от «земли»: на уровне микрокосмическом это означает, что эфирная сфера души (anima celestis) перестала влиять на материальный субстрат — «умное тело» (Ямвлих)[20]. И по мере удаления эфирной сферы от «умного тела», последнее неотвратимо теряет свободу и падает на «шершавую землю реальности» в суровые объятия необходимости, которую поэт ассоциирует с «нищетой»[21]. Экзистенциальное «либо... либо» аффицируется очень четко: при возрастающей материализации жизни, небесное представляется миражом, химерой, и человек напрасно теряет силы в бесполезной сублимации, силы, которые лучше бы направить на борьбу с нищетой. Поэт ненавидит нищету, но его, равным образом, не прельщает цель таковой борьбы — комфорт. Так как нищета и комфорт парализуют возможность

метафизического восприятия, замыкают человека в границах земного бытия, и отдают во власть судьбы. Ведь «умное тело» в значительной степени детерминировано расой, временем и местом рождения, персональными психофизическими параметрами и т. п. Современная цивилизация, умножая детерминанты, все более сужает свободу выбора. Христианство осуждает как ересь индивидуальный религиозный поиск, разрешая только своим «специалистам» исследовать транцендентальные горизонты. Но Рембо хочет «владеть истиной в душе и теле». И первый проблеск подобной истины называется «бегством».

В своем герметическом аспекте «Une saison en enfer» отражает «черную стадию» (nigredo) разъединения компонентов человеческой композиции, что и позволяет говорить о неоплатонической алхимии. Процесс (путрефакция, коррозия) не имеет ничего общего с «разложением личности» под влиянием «дурных наклонностей» или «злой судьбы». Это «внутренняя коррозия», вызванная пробуждением дионисийского огня или «иоса»[22] и направленная на уничтожение дисгармонической структуры, на очищение «монады» (эйдолона), понимаемой как зернышко возможной индивидуальности, от «изначальной» онтологии, этики и эстетики[23]. Но существует ли такая «монада»? Мы живем в условиях отсутствия или отрицания неоплатонического «первоединого» и нам доступно только «подобие знания», согласно интерпретации Плутархом Афинским (начало V века н. э.) восьмой гипотезы «Парменида». Это означает, что в материальном мире нет никакой истины и никакой реальности: вселенная поддается любой трактовке, «всякая линия есть мировая ось» (Новалис). Умопостигаемая «вода», активизированная дионисийским огнем, должна расшатать ориентиры и константы, растворить рациональную схему восприятия.

Но здесь необходимо разъяснение. Один из постулатов позитивизма звучит так: «Nihil est in intellectu, quod non antes fu-erit in sensu». (Нет ничего в интеллекте, что не содержалось бы ранее в чувствах.) Чувственные данные создают оперативное поле для интеллекта, который трактуется исключительно в рациональном смысле, причем содержание этих данных считается более или менее

известным. Вернее, содержание это сводится к некой общепринятости и количественной утвердительности: если двое или трое увидят великана или единорога, их показания не будут иметь особой цены, если увидит одновременно тысяча — это привлечет известное внимание[24].

Данные субъективного восприятия, не верифицированные групповым рацио, кажутся сомнительными даже воспринимающему. Пока симбиоз субъекта и группы не распадется, нельзя рассуждать о рождении и эволюции индивида. Человеку навязывается разлинованная, послушная физическим законам реальность — это первичная и самая жесткая общественная репрессия. Он волен изменить ориентиры и законы, но не идеи ориентации и закономерности. Рацио нарушает сложную взаимосвязь органов чувств, убивает качественность зрения и слуха механическим их усилением, пренебрегая развитием обоняния, вкуса и осязания. В результате живая жизнь подменяется теоретическими моделями.

Кажется само собой разумеющимся, что человек воспринимает и оценивает себя иначе, нежели его воспринимают и оценивают другие. Однако в новое время эта дистанция тяготеет к сокращению. Человек не доверяет собственному разуму и полагается на вердикты «демона коллектива»: манера мыслить и чувствовать, лицо, походка, одежда — все обретает зловещую стандартность, а бунт против этого объясняется молодым упрямством или нарочитым позерством.

Anima rationalis, когда-то связующая детерминанта восприятия, стала «вампирической королевой» и узурпировала впасть чистого интеллекта, оттеснив его в область умозрительных спекуляций. Дихотомический способ мышления объединяет христианство и рационализм: в том и другом случае агрессивные тезы противостоят всему остальному (Бог — сатана, добро — зло, идея — материя)[25]. Ненависть к чистому интеллекту распространяется и на воображение как на сферу его свободной комбинаторики. Именно воображение ассоциируется с «бесконечной потенциальностью» античной философии равно как с герметической «материей души». Это не космогонические «элементы», а порождающая возможность материального бытия. Отсюда модификации «великой матери»: Деметра (земля), Тефия (вода), Гера (воздух), Геката (огонь).

Триумф anima rationalis обусловлен магнетической доминацией «земли», позволяющей ориентацию относительно неподвижных пунктов и довольно четкую идентификацию объектов. Но это ложная ориентация и идентификация, поскольку «земля» только стихия среди стихий. Рацио выдает часть за целое, сопрягает инородные части в новое, искусственное целое, игнорирует плавучие, летучие и огненные параметры объекта, равно как возможную квинтэссенциальную структуру. Однако критиковать «царство количества» с позиций традиционных, романтических либо эмоциональных безнадежно и поздно. Деградацию можно расценивать как следствие божественно-космических потрясений, а рационалистическую агрессивность объяснить страхом перед потерянностью в бесконечной и равнодушной вселенной, где поливалентное жизнеутверждение превратилось в стремление к максимально успешному выживанию. Подобное «выживание», аналогичное современному пониманию «победы», легче дается вместе и согласно: отсюда подмена воинов профессиональными солдатами и вольной ходьбы — маршем. Часовые механизмы, равномерность, равнодольность — все это позволяет фиксировать, анализировать, синтезировать конструктивную фрагментарность. Более того: это позволяет в неожиданном и новом распознать знакомые фрагменты и таким способом освоить новизну.

Препарированная, лишенная многосторонних жизненных связей, среда обитания не в силах противостоять вторжению хаоса.

Превалирование какого-либо низшего начала (вегетативного, анимального, рационального) ведет к деформации и диссолюции. В современном мире изменить положение вещей невозможно. Надо оставить пахаря на шершавой земле реальности, дабы ангелу открылось небо[26].

Дионисийский огонь активизирует золотое зерно фантазии или сперматический логос, дионисийский огонь испепеляет детерминации и законы логики, уничтожает механическое время и память. После кальцинации «умное тело» (алхимический residius) остается «доживать свой век»[27]. Автодзоон (здесь: самодвижная мужская монада) освобождается для более светлых, более гибких конкретизации. Согласно Рембо, это поиск

«нового тепа любви»[28]. Когда автодзоон проникает в мозг (алх. gestatio in cerebro), происходит образование гидрогена — субстанции, порождающей умопостигаемую воду или «море Афродиты»[29]. Восприятие, свободное от рационального диктата, открывается «морскому пейзажу», где нет более проблемы верификации реальности объектов: они постепенно утрачивают «земные» свойства и вступают с органами чувств в беспрерывное сотворение.

Ангелы кружат свои шерстяные одежды на склоне откоса, в травах изумрудных и стальных.
Пламенные луга вздымаются до круглой вершины холма. Слева земля истерзана всеми баталиями, всеми убийствами и все зловещие раскаты сплетают дугу наклона. За вершиной холма, справа, линия востоков, прогрессов.
И тогда как лента на верхнем поле картины образована кружащим и буйным гулом раковин морских и ночей человеческих... Нежное соцветие звезд и неба и всех вещей снижается на откос словно корзина и рассеивается там в глубине голубой цветущей бездной.

(*«Les illuminations. Mystique»*)

Некоторые комментаторы полагают, что данный текст отражает впечатление от какой-то картины эпохи барокко. Слова «...лента на верхнем попе картины» вызывают воспоминание о девизах аналогичной конфигурации на гравюрах и полотнах семнадцатого века. Однако эта вполне легитимная трактовка наводит на размышление иного плана. Внерациональному, активизированному восприятию раскрывается жизнь пространства в неведомой геометрии, точнее уранометрии, ибо каждой стихии присущ своеобразный динамизм. Когда объект развивает «плавучие» или «огненные» качества, его функциональная панорама меняется, что определяет деноминативное отношение к поэтическому слову. В общем контексте поэмы вполне вероятна минерально-металлическая вегетация и пламенность лугов, но здесь учитываются любые вербальные суггестии: пышность, колорит, блеск, переплетение, струение. Земля и земное соединяются в холодных, отвлеченных линиях и различаются в

смещенной перспективе восприятия: зловещие раскаты сплетаются в дугу наклона: гул раковин и ночей образует ленту. Квинтэссенциальное снижение(ангелы кружат свои шерстяные одежды) идет по спирали, оставляя в стороне результаты человеческой деятельности и завершаясь нежным соцветием в голубой бездне. Линии не проектируются математической мыслью, но рождаются стихиями, отчужденными от человека. Пробуждение свободного, ничем не спровоцированного движения — одна из основных проблем Рембо. Динамическая монада (автодзоон) проникая в бесконечную потенциальность воображения (лунное пространство мозга), концентрирует сферу своего желания, сферу возможного «тела любви». Это эманация гидрогена, «выход в море».

Все извращенности и надломы повторились в беспощадных жестах Гортензии. Ее одиночество — механическая эротика, ее утомление, динамика страсти. Под покровом детства, в многочисленные эпохи она — пылающая гигиена рас. Ее дверь открыта несчастью. Актуальные размышления о морали распадаются в ее страсти, в ее действии. О жестокие судороги наивной любви на окровавленной земле, пробужденные светлым гидрогеном! Ищите Гортензию.

(«Les illuminations. «H»)

Символика латинского «H» чрезвычайно многозначна (Hermes, Helios, Hydrogen, Hyle и т. д.) В данном случае любопытен совет касательно поиска Гортензии (Hortense). У современника Рембо, французского герметика Альберта Пуассона, голубая гортензия — символ алхимической весны, что и понятно: Hortensia — одно из имен Венеры Флоралии, римской богини весеннего цветения и сублимации жизненных соков («Hortensia, mater primavera...», Валерий Флакк). Это сила, пробуждающая ферментацию, это женская «вода» в композиции андрогина[30].

В тенденции данного текста мы употребляем зачастую в переплетающихся смыслах столь субтильно разные понятия как «золотая частица фантазии», «эйдос», «сперматический логос», «автодзоон», «мужская монада» и т. п. Эти понятия объединены фаллической ассоциативностью. Ибо

Уран в неоплатонизме — динамическая, оплодотворяющая активность «единого». Уранический принцип пробуждает «солнце сердца» или интеллектуальный ток крови, который, собственно и является «светлым гидрогеном».

«Когда на железе проступает кровь, радикальная влажность, или Hortensia, начинает действовать».[31]

Солнце сердца, интеллектуальный ток крови, огненная пневма — эти начала будоражат, озаряют, организуют материю в ее разрежениях и сгущениях: *«Более крепкие чем алкоголь... Более широкие чем наши пиры... Ферментировали горькие багрянцы любви...»* («Пьяный корабль»).

В поэзии Рембо весьма акцентировано понимание materia prima как субстанции «тепа любви». Это слишком напоминает неоплатоническую трактовку мифа о первоматерии, чтобы поверить в очередное случайное совпадение. Согласно Эвдоксию, Геракл (адепт) погружается в фонтан и «фиксирует» телесный контур нимфы Гиле (Hyle), растворенной в воде. Так возникает очертание «тела любви» в облаке рожденной гидрогеном алхимической воды. Все это так или иначе соответствует небесной парадигме: из эманации метаноэтического «единого», вокруг огненной пневмы Урана концентрируется Афродита.

Афродита, пеннорожденная,— одна из решающих мифологем Рембо. Толстая и уродливая, она вылезает из зеленой ванны, вызывая феноменальную рифму Venus—anus (Венера— анус). Беременность Афродитой мучительно свершается в мозгу. «Багряные и черные раны вспыхивают в этой ослепительной плоти». («Being beauteous»). И, наконец, облако алхимической воды обретает очертание божественного силуэта, иного космоса:

Звездная слеза розовеет в сердце твоих ушей,
Белизна бесконечности нисходит, извиваясь от твоей шеи к бедрам,
Море золотисто жемчужится вокруг твоих багряных сосков.
И человек истекает черной кровью близ твоего царственного лона.

(«L'etoile a pleure rose...»)

Какой человек? Очевидно, тот, кто остается здесь, на «шершавой земле реальности». Осадок на дне реторты, residius. Другой, освобожденный, увидит новые океаны, новые континенты, озаренные небом без горизонта. И увидит «нашу мать Красоту».

Это начинается детским смехом,
это кончится детским смехом.

(«Утро опьянения»)
1995

Примечания

(1) Цит. Donald, R. La mystique paienne, Paris, 1959, p. 260. Цитата взята из разрозненных фрагментов книги Росцеллина «Иудеи и христиане».
(2) «Прошлое есть только у героя. Например, у Ясона, который приходил к дряхлеющему кораблю «Арго»». Festugiere, A. J. Hermetisme et mystique paienne, Paris, 1967, p. 14.
(3) Современному пониманию неоплатонизма мы обязаны Дойзе. Ларсену, Фестюжьеру, Уолкеру, Лосеву. К сожалению, в замечательной книге А. Ф. Лосева акцентируется логико-философская сторона проблемы, а не мистериально-теургическая. Это объясняется либо ортодоксально христианскими убеждениями автора, либо не зависящими от него «исторически материалистическими причинами».
(4) Неоплатоники, как правило, не придерживаются резко матриархальной теогонии Гесиода. Небо (Уран) — эманация единого, земля (Гея) — порождение Ночи. И это ни в коем случае нельзя расценивать в дихотомии добра и зла.
(5) «Это трудно — человеком быть. Редко, очень редко, человек как биологическая особь становится человеком в смысле идеи «humanitas». Scheler, M. Philosophische Weltanschaung, Bonn, 1929, S.98.
(6) Sinesius. La vray livre de la pierre philosophale, Paris, 1612, p. 104. В истории алхимии автора часто называют псевдо-Синезием, но в данном случае это не играет роли.
(7) Здесь нет ни малейшего сходства с «феноменологией перцепции» М. Мерло-Понти равно как с французским «новым романом». В современной философии и литературе нет проблемы мистической трансформации восприятия.
(8) По Синезию «огненная пневма» занимает срединную ступень между эфиром и огнем.

(9) Касательно знаний и эрудиции Рембо лучше всего прислушаться к его собственным словам: «В одном старом парижском закоулке меня учили классическим наукам. В одном великолепном жилище в восточном стиле я совершал великую работу в роскошном уединении» (Les Illuminations, Vies).
(10) Turba Philosophorum, Hamburg, 1712, S. 440.
(11) Bernard le Trevisan. Songeverd, Paris, 1645, p.22.
(12) В случае с человеком, «ретортой» можно назвать эфирное тело души, «иероглифическую монаду» Джона Ди.
(13) Т-ихо Браге и Роберт Фладд считали «скорлупой» сферу «невидимого зодиака», преграждающего доступ энергиям хаоса.
(14) Gorres, J. Glaube und Wissen, Munchen, 1806.
(15) Замечательные описания алхимической «воды» встречаются в «Романе о розе» Гийома де Лориса (XIII век), в «Сновидениях Полифила» Франческо Колонны (конец XV века), в «Магическом мире героев» Чезаре делла Ривьеры (начало XVII века). 16 В контексте неоплатонической алхимии реализация «золота» или приближение к «золотой оси» называется «малым мистерием».
(17) В данном пассаже использованы апории Росцеллина («Иудеи и христиане»), а также императора Юлиана («Против христиан»).
(18) Изысканные и печальные варианты этой темы — в раннем стихотворении Рембо «Солнце и плоть».
(19) Интерпретация Инид Старки (Enid Starkie, Rimbaud, London, 1957, p. 185). Эрих Нойманн в своей «Истории происхождения сознания» (1968) акцентировал женский характер церковного христианства. Ссылаясь на гипотезу Бахофена и Юнга об извечной взаимовраждебности полов, Мойманн заключает: «божественный сын», рожденный не от презренного земного мужчины, а от небесной сущности — один из архетипов женского бессознательного. Это мнение косвенно подтверждается активной ролью женщин в распространении христианства.
(20) Стоит, вероятно, напомнить, что под «умным телом» имеется в виду материальная композиция, оживленная вегетативно, анимально и рационально.
(21) В тексте идет речь о тривиальной нищете, а не о «нищете» инициатической, игнорирующей условия земного бытия.
(22) Jos (греч.) — яд, iosis — красный цвет.
(23) «Сознательное», основание на усвоенных какой-либо группой констант и правилах, гораздо более «коллективно», нежели «бессознательное».

(24) Американский психолог Джеффи Деннис считает, что чувственные данные очень мало влияют на официальное мировоззрение эпохи: «Тысячи людей собрали массу данных о мулаху и йети, о морском змее и НЛО, что никак не отразилось на компендиуме научных знаний, а только обогатило общественную мифологию. Рационалисты продолжают твердить о шарлатанстве, обмане, коллективных галлюцинациях и т. п. Это и понятно: рационалисты уже более столетия усвоили методы и практику политической борьбы». (Dennis. J. Paradox of perception. Mew York, 1990, p. 32).

(25) Дихотомический способ мышления искажает наш взгляд на античную философию. Платон отнюдь не идеалист, Демокрит отнюдь не материалист: «идея» и «материя» не противоположности, но иерархически связанные принципы.

(26) Юнг, Керени, Нойманн рассуждают об опасности такого рода разделения, постулируя «комплекс Икара» как угрозу кастрации от божественного отца. Это результат монотеистической трактовки.

(27) «Умное тело» в некоторых отношениях напоминает «социальное «я»», Фромма или «персону» Юнга.

(28) Выражение встречается у трубадуров, в сочинениях «Верных любви», и «Братьев свободного духа» (XII—XV вв).

(29) Алхимический гидроген, разумеется, не имеет ничего общего с химическим водородом.

(30) Комментаторы (Старки, Жангу, Матуччи, Ютен) подозревают, что «Н» — отражение автоэротических или даже тантрических увлечений Рембо. Последнее — маловероятно. Касательно автоэротики вопрос сложнее, так как текст действительно можно интерпретировать в таком плане. Однако автоэротика пассивна и обусловлена образной памятью, а не воображением в неоплатоническом смысле.

(31) Willis. T. Theophysical Alchemie, Manchester, 1616, p. 236 «Радикальной влажностью» называют, среди прочего, женский компонент спермы.

Артюр Рембо и неоплатоническая традиция

Поздняя лирика Рембо темна и загадочна, и это электризует ее дивную фасцинацию:

L'etoile a pleure rose au coeur de tes oreilles, L'infini roule blanc de la nuque a tes reins; La mer a perle rousse a tes mammes vermeilles Et l'Homme saigne noir a ton flanc souverain.

Возможна позиция русского парафраза:

Звездная слеза розовеет в сердце твоих ушей. Белизна бесконечнечности нисходит, извиваясь, от твоей

шеи к бедрам; Море золотисто жемчужится вокруг твоих багряных сосков... И человек истекает черной кровью близ твоего царственного лона.

Можно ли интерпретировать подобный текст, и что означает интерпретация? Вероятно, интуитивные круги, расходящиеся в нашем сознании от падения данного катрена. Отражательностью своей интерпретация отличается от объяснения или анализа.

Мы не спрашиваем, почему использована именно такая лексика, именно такая форма и о чем, собственно говоря, стихотворствует стихотворение. Исключая чисто филологический анализ, метод интерпретации в случае Рембо представляется единственно легитимным, ибо история исследования этого поэта изобилует объяснениями дикими и почти анекдотическими. *«Девятнадцатый век,* — писал Дени де Ружмон, — *был воистину счастлив, когда ему удавалось объяснить небесное земным, высокое низким».*[1] В наше время такая тенденция вполне наличествует, в чем легко убедиться, прочитав, к примеру, книги Рене Этьямбля о Рембо. Однако люди, полностью изменившие принципы и направленность европейской поэзии - а Рембо один из них — не могут не быть инициаторами новых духовных поисков. Не имеет значения, стары они или молоды — художественное, то есть истинное, «я» лишь по касательной задевает человеческую актуальность. Поэтому даже подробные биографии, даже свидетельства близких друзей не играют никакой роли при характеристике авторского текста. Критики, отрицающие эзотерическое сообщение Рембо, приводят следующий довод: как, мол, юноша, который вел беспокойную и беспорядочную жизнь, мог высказать нечто важное в области герметики, изучение коей требует усердных многолетних трудов? На этот вопрос пытались ответить интерпретаторы, признающие эзотеризм данного произведения: Ролан де Реневиль и Жак Жанжу, апеллируя к известному книголюбию Рембо, перечислили книги, по их мнению, прочитанные поэтом: «Corpus Hermeticum», изданный Луи Менаром, «Догма и ритуал высшей магии» Элифаса Леви, «Мифо-герметический словарь» Пернети и т.п. Странная уступка позитивистской критике. Ссылка на оккультную литературу легитимна только в том случае,

если у того или иного автора находят аллюзии на магические операции, описание сакральных ритуалов, флер «тайного знания». Подобные аллюзии и флер можно при желании отыскать у Рембо, но это не производит убедительного впечатления. Рембо не просто любитель оккультных сочинений, а новатор традиционной мысли[2].

Поэтому совершенно неважно, что он читал, а что нет — пространства, из которых происходит художественное «я», вряд ли населены книгами. Тем не менее, произведение Рембо не лишено сложных соответствий с традицией в нормальном понимании. В процитированном выше катрене, словно озаренном молодым античным солнцем, встречаются выражения сугубо герметические: «сердце твоих ушей», «человек истекает черной кровью». Мы остановимся на этом несколько позднее. Сейчас лучше всего пояснить, что имеется в виду под герметизмом и каким образом Рембо трансформировал традиционную идею.

* * *

Всякого, кто давал себе труд знакомиться с так называемой «оккультной литературой», удивляли, вероятно, две особенности данных сочинений: очень выспренний, так сказать, мистагогический тон и очень бедное, но весьма запутанное содержание. Сочинения эти заполнены рецептами, диаграммами, таблицами, где растолковываются бесчисленные связи микро- и макрокосма, тайные качества минералов и растений, математика музыки сфер и числовая магия. Все это — вещи секретные, профанам недоступные, и непонятно, зачем авторы потратили столько усилий на создание подобных трактатов. Пользоваться их магическими рекомендациями бесполезно: корень сумахи не изгоняет тараканов, слюна молодых людей не убивает скорпионов, роза, сожженная в полнолуние во имя прекрасной дамы, еще не гарантирует ее любви. Советы, возможно, и правильны, однако без некоторых «брухад» (заклинаний), без некоторых тайных указаний их эффективность весьма незначительна. Нельзя научиться магии по книгам, как нельзя научиться «умной молитве» по житиям праведников. Оккультисты все это хорошо знают, что не мешает им обращаться к нам так, словно они только вчера пили чай в салонах Атлантиды или провожали на костер великого магистра тамплиеров. Тогда зачем

издавать сии манускрипты и компендиумы? Какие пружины двигают сочинителями? Тщеславие, самообольщение, педагогическое рвение? Хотя последние фразы, скорее, относятся к пионерам оккультизма девятнадцатого века и американским «розенкрейцерам», нельзя не поставить под сомнение легитимность оккультной литературы в целом. В своей работе «О тщете искусств и наук» Агриппа Неттесгеймский высказался в следующем смысле: если кто-либо хочет что-либо уразуметь в себе самом и в мире, он должен, прежде всего, разувериться в книжном познании»[3]. В конце восемнадцатого века аналогичную мысль выразил Л. К. де Сен-Мартен. И все-таки...

И все-таки, зачем столько подобного рода книг? Ностальгия ли по золотому веку тому причиной? Наивная ли уверенность в том, что достаточно намекнуть людям о былом могуществе королей-магов, достаточно дать понять об энергии геометрических символов и вербальных формул, чтобы границы их сознания расширились и воссияла многоцветная беспредельность мира и миров? Оккультные опусы кружат голову хмелем достижимой власти и богатства и в то же время утверждают катастрофическую пассивность человеческой массы: мы только марионетки неведомой исторической драмы, пожива для хищных птиц, нами управляют (кроме потусторонних сил, разумеется) всевозможные инициаторы новых парадизов, великие посвященные, тайные ордена, сугубо секретные ложи и т.п. Как будто мало спецслужб, мафий и страшных финансовых пауков.

Сколько ностальгии, наивных надежд.

В своей книге «Великая феерия» Метерлинк вспоминает забавный эпизод: когда в самом начале века английские войска проникли в Тибет и подошли к Лхассе, теософские общества преисполнились радостным ожиданием известия о неминуемом разгроме англичан. *«Они никогда не захватят великой Поталы, ибо трансгималайские адепты владеют секретом разрушительных сакральных энергий»*. Когда Лхассу быстро и благополучно взяли, поклонники адептов смутились, но ненадолго, поскольку надолго оккультистов смутить нельзя. Сейчас они, сочетая апокалипсис и веданту, успешно толкуют о финале кали-юги, почему-то идентифицируя оную с «железным веком» греческой мифологии. Даже

если принять весьма спорную тезу о первичной Традиции, разветвленной впоследствии на разнообразные традиционные учения, нельзя согласиться с какой-либо идентичностью подобных учений, следует, скорее, говорить о резонансах и влияниях. Кратко об этом: в далекой от креационизма греческой мифологии нет понятия, напоминающего индийскую «кальпу», и нет понятия о периодичности. Время возникает при контактах неба и земли, время есть неравномерная последовательность божественных Событий, вне таких событий время - только земная длительность, подверженная любому делению. Поэтому индийские «юги» и «четыре века» Гесиода можно соотнести лишь в очень неопределенной символике. Более того, пифагорейские числа-генады не имеют связи с временем в обычном понимании согласно «Теологуменам арифметики» Ямвлиха. Концепцию Гесиода трудно считать «традиционной» еще и потому, что она очень вольно интерпретировалась многими греческими философами. Вот любопытный комментарий неоплатоника Присциана (VI в. н.э.): золотой век — эпоха фаллической активности Урана, проявленность богов; серебряный век — прекращение фаллической активности Урана и проявленность Афродиты, «рождающей гармонические, дивные миры»; бронзовый век — эпоха богов и героев, Троянская война, «распря богов», угасание божественных Событий; постепенное отмирание божественных законов и форм в хаотической природной жизни[4].

Это одно из мифологических толкований платоновских гипотез в «Пармениде», диалектики «единого» и «иного», «истинного бытия» (био) и природной жизни (зоэ). Истинное бытие возникает при вхождении небесного эйдоса в соответственную материю, при насыщении материи «семенными логосами» (logos spermaticos). Однако материальному субстрату от природы присущ эйдолон или скрытая субстанциональная форма, которая определяет «качество» или «энергийную душу» каждой вещи. Жизнь, в отличие от «истинного бытия», стихийный природный процесс, бесконечное и бесцельное «становление» без каких-либо закономерностей и дефиниций, ситуация змей кадуцеи до прикосновения небесного эйдоса (жезла Аполлона).

Ясно, что эти положения можно понимать довольно широко, но ясно также, что распад эйдетической струк-

туры начался еще в мифическом прошлом. По мнению неоплатоника Дамаския, «при разрушении эйдетической структуры человек превращается в сумму дискретных качеств и, лишенный разума, беспрерывно переходит из одного сна в другой»[5]. Что такое «разум» в неоплатонизме, объясняется в комментарии Синезия к «Пещере нимф» Порфирия: *«Разум помогает понять узоры на камнях, раковинах, на крыльях бабочек, равно как язык облаков, деревьев и звезд»*[6].

* * *

Итак, чем дальше уходит «действительность» от небесного принципа или «единого», тем менее заметен на ней след истинного бытия. После гибели героических цивилизаций человеческие «события» — только все более тускнеющие блики героического огня на развалинах древних храмов. Только страдание и боль удостоверяют нашу «реальность». *«Истинное бытие отсутствует. Мы живем не в мире,»* — сказал Рембо. Где же тогда? В разнузданных стихиях, в толпе, в группе. Мнимую устойчивость нашему существованию придают чисто условные иерархические порядки, произвольно выбранные системы измерений. Если смягчить безусловно отвергаемый христианством максимализм языческих неоплатоников[7] и если учесть растворение христианства в иудео-христианстве, то катастрофу с «действительностью» можно отнести ко времени позднего средневековья. Началась, говоря языком гипотез «Парменида», жизнь «иного» при отсутствии «единого». Жрец, потеряв свою магическую силу, превратился в клерикала, герой-рыцарь, всем обязанный своей доблести и мужеству, превратился в дворянина, зависящего от своих предков и своего класса. Индивид стал распадаться на «сумму дискретных качеств», лишенные внутренней связи компоненты индивидуального микрокосма принялись объединяться в групповой и социальный макрокосм. Началась эпоха «новой философии», иронически воспетая Джоном Донном в конце шестнадцатого столетия:

«New Philosophy calls all in doubt...»

«Для новой философии сомнительно все. Элемент огня исчез. Солнце потеряно и земля, и никто теперь ... не может сказать, где их искать.

... Кругом только обломки, связи разорваны ...»

Новая философия, новые философии. Лишенная божественного света мысль пытается учиться у природы и познавать природу, сооружая на борьбе стихий свои эфемерные конструкции. Джордж Беркли писал: *«в центре каждой системы, претендующей на устойчивую целесообразность, будь то геометрическая фигура, научная теория или этическая парадигма, скрыто ее собственное отрицание, частица первобытного хаоса»*[8]. Как защититься против ударов разъедающих волн хаоса? Надо создать общие правила поведения, общую систему измерений, единую и «научно-объективную» панораму вселенной, денежный эквивалент любых ценностей и, уничтожив сословные различия, превратить людей в «человечество».

Минотавр «всеобщего счастья» в электрических лабиринтах науки.

* * *

«Проклинаю размалеванную камеру пыток современного мироустройства,» — писал Гете в письме Беттине фон Арним. Но, казалось бы, — мы возвращаемся к скептическим замечаниям касательно оккультизма, — казалось бы, люди, которые стараются напомнить нам о живой и магической вселенной, о тайных ресурсах тела и души, предлагают нам спасительный выход. Исключим шарлатанов и честолюбцев, оставим искренних энтузиастов, и что же? Игнорируя трагическую инволюцию европейского бытия, они во всем обвиняют позитивизм и технический прогресс и в качестве панацеи впрыскивают в европейские мозги солидную дозу восточной мистики. В данном случае они поступают ничуть не лучше позитивистов с их общечеловеческим фантомом и летящей черт знает куда «солнечной системой». Совсем нет надобности путешествовать на другие планеты и отыскивать «братьев по разуму». Китайцы, индусы, шаманы, мганги, живущие по совсем иным спиритуально-анимальным законам, и являются таковыми «братьями». Каждая раса имеет собственных богов, собственное время и пространство, собственную космическую судьбу и, что главное для поэтического миросозерцания, собственный язык. Несмотря на внешнее «человеческое» сходство

и соблазны компаративистики, обманчиво находить нечто общее в буддизме и христианстве, в западной и восточной мистической практике, ибо сравнение — «самая опасная фигура риторики». Нет оснований экстраполировать креационистскую и финитную мифологию на любое жизненное пространство. Европейская цивилизация повторила судьбу римской империи, став жертвой адской смеси языческой греческой логики и философии с монотеистическим иудео-христианством. И теперь, лишенная разумной божественной энергии, она погружается в турбулентные, бездны хаоса, в сновидческие и алеаторические сопряжения жизни и смерти. Потому что в этих сумрачных, количественно безграничных областях, в климате хищной материализации может царить только непредсказуемая изменчивость, тотальный мираж и высасывающий душу страх физической гибели. Такая ситуация, естественно, очень устраивает быстротекущие и «сверхсекретные» группы, ордена и спецслужбы, проще говоря, скопище призраков, которые терроризируют и без того запуганное «человеческое сообщество» дикими и зловещими вымыслами, придавая им некое научное правдоподобие. Совершенно ясно, что проблема герметизма, то есть поиска истинного бытия в пронизанной божественными эманациями вселенной радикально усложнилась и ужесточилась. Сейчас даже трудно представить задачи герметики и алхимии в античном мире, более или менее гармоничном на современный взгляд. Когда прекратилась активность небесных эйдосов и квинтэссенция перестала связывать материальные, душевные и духовные компоненты бытия в единый организм, человеческая индивидуальность рассыпалась в конгломерат акциденций, способностей, желаний и т.п. формализация личности, некое подобие целостности стали достигаться доминацией какого-либо качества над остальными. Оценка личности приобрела метонимический характер: Красавина, генерал, шулер, бизнесмен. И над всем этим господствует «лишенность» — главный атрибут материи, лишенность, которую сколь угодно великое приобретение только раздражает и стимулирует. Подобная тенденция весьма однотонно окрашивает взгляд на историю вообще и на историю герметических занятий в частности. Многообразие человеческой индивидуальности, обусловленное квинтэссенциальной организацией микрокосма, сменилось социальным макрокосмом, где единый для всех пространственно-временной континуум сочетается с пневматической сферой, также единой для всех. Учитывая это, можно догадываться только о целях христианской алхимии средних веков, которая, в сущности, является закатом королевского искусства[9]. Строители, воздвигнув соборы на местах, наиболее уязвимых для инфернальных энергий, пытались таким способом защитить Европу. Алхимики искали универсальную жизненную константу, дабы устранить бедность и материальные тяготы, излечить болезни тела и не дать сорваться душе с божественного круга[10]. И когда угасла деятельность строителей соборов, алхимических братств и рыцарских орденов, ничто не смогло эффективно воспрепятствовать инволюции белой цивилизации.

* * *

Тема деградации человека и конца «истинного бытия» разработана в поэзии задолго до французской революции. Две контрапунктических линии переплетаются в лирике семнадцатого века: прециозное воспевание женского тела и мрачная констатация тщеты и бессмысленности жизни, подчеркнутая драстическими описаниями смертных мук, инфернальных пыток и страшного суда. Красота героических подвигов и высокой добродетели сменилась красотой материальной, трагизм гибели души сменился трагизмом неизбежности физической смерти. И в произведениях великих поэтов семнадцатого века — Марине, Гонгора, Гофманс-Вальдау — уже пробудилась главная тенденция поэзии нового времени: устранение от действительности, бегство от мира сего.

Цель герметизма радикально изменилась. Философский камень перестал быть вожделенным средством достижения долголетия и богатства, философский камень стал... трамплином для прыжка в иные миры. Андре Бретон, назвав философский камень «блестящим реваншем воображения», коснулся нерва сугубо неоплатонической проблемы[11]. Только не так просто преодолеть зловещую гравитацию материальной «реальности». Фихте и Шеллинг, пытаясь спасти ситуацию духа, отделили внут-

ренний мир (абсолютное «Я», Innerrraum) от внешней «сферы активности деловой монады». Но постепенно «внутреннее пневматическое пространство» с его мечтами, снами, фантазмами стало вызывать недоверие и враждебность толпы и ее вожаков, поскольку все это отвлекало от «улучшения условий жизням, более того: распыляло прогрессивный прорыв, искажало «фактическое положение вещей». Истину, реальность и факты трактовали в девятнадцатом веке как нечто тяжелое, упрямое и костлявое. Когда на этих реалистов и тружеников нападала охота философствовать, они, подобно Санчо Пансе, щеголяли поговорками и пословицами. Вера в «фактическую реальность» настолько прельстила буржуа, что позитивист Ренувье даже предлагал воздвигнуть «храм Факта». *«Вера в непогрешимость факта, — писал Кайзерлинг, — есть худшее из суеверий. Научная объективность — фетишизм атеистов»*[12].

Справедливо. Ибо в хаотических своих потенциях, в чудовищной борьбе стихий фактическая материя способна порождать любые «молекулярные соединения» жизненно-механических монстров[13]. Хаос отнюдь не нарушение или уничтожение какого-либо порядка. Хаос разъединяет материальный субстрат и его качественную характеристику, лишает материю ее субстанциональной формы. Следовательно, эйдосы без соответствующего субстрата не могут гармонично воплотиться в материи, доступной нашему восприятию и, таким образом, распадается вся система небесно-земных соответствий. Эйдос не встречает направленного желания материи (capacitas formarum), материя начинает поглощать и претерпевать что угодно. Когда-то художник почитал за кощунство называться «творцом»: задачей скульптора было прозорливое угадывание специфического мраморного блока, скрывающего божественный силуэт — после этого скульптор «выявлял» статую, отделяя лишнее[14].

Из подобных рассуждений можно сделать только личные выводы.

Континент белой цивилизации рассекается, разрывается под действием неведомых энергий хаоса. Техницистам не следует особенно гордиться собственной гениальностью, ибо они играют здесь довольно пассивную роль. Техницисты — сущности, с помощью которых потустороннее успешно разрушает посюстороннее. С помощью этих людей (сущностей, агентов) потустороннее аннигилирует организованность мироздания, гармонию, любовь, время и пространство, то есть атмосферу ориентированного смысла жизни. И если не наступит божественное Событие, судьба покинет данную цивилизацию[15].

Бегство в таких условиях легитимно и необходимо, иначе душа, взыскующая ирреального неба, погибнет в медленном и страшном конформизме. История новой поэзии — история разнообразных побегов. *«Куда угодно, только подальше от этого мира,»* — сказано в одной из поэм в прозе Бодлера, хотя он еще верил в небесно-земные «соответствия». Самоубийство, внутренняя эмиграция, экзотические горизонты, иные традиции, фетиши Океании, искусственные парадизы. На руинах христианства еще тлели растерянные надежды. Но жизнь и творчество Рембо неумолимо доказали: этот мир действительно «кончен», по крайней мере, для поэзии.

* * *

Почему «человек истекает черной кровью близ тво-его царственного лона», и что внушается в этом четверостишии без названия (L'etoile a pleure)? Абрис вселенной, космической Галатеи? Или теофания Афродиты, рождающей дивные миры? «Черная кровь» — одно из обозначений в герметизме сжигающего, взрывного сульфура (soufre combustible). Это энергия, необходимая для беспрерывного становления материальной природы, катализатор физической, земной притяженности. Ее центробежность в ситуации мужчины есть центростремительность в ситуации женщины, поскольку «черная кровь» тяготеет к «черной магнезии» — средоточию женской природы. Этим объясняется ненасытное стремление к захвату, обладанию, пожиранию, уничтожению, что стимулирует стихийную динамику, но мгновенно или постепенно аннигилирует соматико-анимальную структуру захватчика[16]. Трансформировать «черную кровь» в нечто более высокое нельзя, главное — избавиться от нее[17]. Только в таком случае возможна эффективность фантазии, понятой как сублимация и пролификация человеческой актуальности.

Надо сказать несколько слов о принципе трансформации.

«Превратить свинец в золото» — подобное выражение бессмысленно, если считать золото и свинец простыми элементами периодической таблицы. Алхимический постулат «все во всем», аналогия микро- и макрокосма, небесно-земные соответствия предполагают изначальную сложность каждого элемента, несводимого к совокупности простых составляющих. Квинтэссенциальная эманация «единого» («...белизна бесконечности нисходит, извиваясь от твоей шеи к бедрам»), иерархически связуя манифестации «иного», дает возможность гармонически централизовать какое-либо вещество и переместить его с периферии ближе к «золотой оси». Но когда природа отпадает от сферы влияния «единого», нет резона рассуждать о подобных операциях. Тело, оживленное лишь вегетативно-анимальными импульсами, становится добычей демонических энергий, от него необходимо избавиться, отделиться (алх. «separatio»)[18].

Мужчина в технической цивилизации — существо обреченное и в любом смысле инструментальное — занимается ли он придумыванием или обслуживанием машин или участвует в деторождении. Ощущением приниженности и рабства не в последнюю очередь объясняется его необузданная агрессивность, какими бы лозунгами она не прикрывалась. Но в стихийном динамизме природы уничтожение и созидание равно бессмысленны.

Итак: в режиме все более прогрессирующей матриархальности не представляется легитимным делать определенные выводы касательно алхимии, спагирии, теургии — наук сугубо патриархальных, — тем более заниматься ими. Сейчас наступила эпоха специфически женской магии (сексуальное околдование, роботизация мужчины и т.п.), черной магии (атомная энергия, коллективный гипноз, конструкция зоэ-механических монстров), каббалистики (компьютерные технологии)[19].

Надо иметь смелость идентифицироваться со своим художественным «я», каких бы страданий это не стоило, и раскрыть душу небесному эйдосу. Отсюда слова Рембо: *«Я хочу быть поэтом и работаю, чтобы им стать»*. О «работе» более или менее ясно повествуют «письма провидца» и «Лето в аду». Тенденции «работы» приблизительно таковы: следует разорвать притяжение действительности, растворить христианскую мораль языческим скепсисом,

уйти от «ада женщин там внизу», потому что «любовь надо изобрести заново». Последний момент принципиален в творчестве Рембо — великого поэта любви или, вернее, поиска любви. Есть все основания расценивать его как последователя труверов, Данте, мистических поэтов XVI-XVII веков.

Любовь есть квинтэссенция в своем женском аспекте и тайный огонь в мужском[20]. Но это лишь томление, ностальгия. Надо отстраниться от их аксиологических осей, их приапически ориентированной эстетики, цинически посмеяться над их «Венерой Анадиоменой» и «Сестрами милосердия». Зачем? Чтобы уничтожить податливость психической материи, разрешающую агрессию социальных клише, вытравить материнское молоко и шрамы отцовского кнута и стать чистой обнаженностью, чистой возможностью. Тогда в глубине этой океанически свободной возможности проявится скрытая субстанциональная форма, ничем не обусловленная фаллическая активность или, по алхимическому выражению, «фермент без спецификации».

Plus fort que l'alcool, plus vaste que nos lyres,
Fermentent les rousseurs ameres de l'amour!
(Сильней алкоголя, шире наших лир,
ферментировали горькие багрянцы любви!)

(«Пьяный корабль»).[21]

Но не пытаемся ли мы прочертить выгодный нам курс корабля сего? Не свершаем ли насилия над текстом? Стихотворения и поэмы в прозе Рембо написаны в децентрализованном стиле. Здесь свободно произрастают смыслы, эмоции, диссонантные фонетико-ритмические группы. В успешной конкуренции междометий, восклицаний, наречий с глаголом и субстантивом, зачастую весьма многозначным, рождается неистовая фраза, тяготеющая к распылению в неведомой атмосфере. Блуждающий центр композиции провоцирует столкновение разных уровней сравнительных пониманий. Мы только пытаемся проследить более или менее очевидную герметическую ось произведения.

Процитируем одну из самых интересных в этом плане поэм Les Illuminations, которая называется «Утро опьянения» (Matinee d'ivresse):

«Только мое Благо! Только моя Красота! Жестокое пение фанфары, я буду слушать тебя! Ура! Странной работе, дивному телу, началу! Это начинается детским смехом, это кончится детским смехом! Этот яд останется в нашей крови, даже когда угаснет пение фанфары и мы вернемся в старую дисгармонию. Но теперь, теперь мы достойны пытки! Неистово сосредоточим сверхчеловеческое обещание нашему сотворенному телу, нашей сотворенной душе: это обещание, это безумие! Элегантность, наука, насилие! Нам обещано похоронить дерево добра и зла, уничтожить тиранические добродетели, дабы явилась наша совершенно чистая любовь. Это началось некоторым отвращением и это кончилось — нам не дано тотчас поймать эту вечность — это кончилось буйством ароматов.

Детский смех, осторожность рабов, суровость девственниц, ужас здешних лиц и вещей — будьте освящены воспоминанием об этой бессонной ночи. Это началось тривиально и постыдно и вот: это кончилось ангелами огня и льда.

Краткая, святая бессонность опьянения, пусть твой дар — только маска! Метод, мы утверждаем тебя! Мы не забудем — вчера ты возвеличил каждый наш год. Мы верим яду. Мы знаем: отдать всю жизнь, все дни.

Вот оно - время Убийц (Асассинов)».

Мнения критиков расходятся в драстическом тумане имморализма: здесь усматривают гомосексуальность, мастурбацию, гашиш и т.п. Вот до чего доводит привычка видеть в трудном тексте непременную зашифрованность. «Утро опьянения» в греческой алхимии — одно из определений «выхода» из «черного хаоса» под водительством Ариадны и Диониса.

1997

Примечания

(1) Denis de Rougemont. L'amour et l'Occident, Paris, 1968.

(2) Столь еретическая формулировка вызовет, вероятно, негодование традиционалистов. Считается, что традиционная мысль незыблема и постоянна - ее дозволительно лишь осторожно комментировать и разъяснять. Однако центральность главных принципов еще не означает неизменности их функционирования в различные эпохи. Признание безусловности полярной звезды еще не означает, что корабль должен постоянно пребывать на полюсе. По словам Рембо, «поэт определяет меру неизвестного своей эпохи».

(3) Знаменитая «Тайная философия» Агриппы почти целиком написана его учениками. Таким же манером написано более половины сочинений Парацельса. (Allendy, R., Paracelse, ie medecine maudit, Paris, 1937, p. 19-21). Большинство трактатов по магии и алхимии принадлежат анонимным авторам. Очевидно, в старые времена люди менее трепетно относились к проблеме авторизации.

(4) J.M. Rist, Mysticism and Transcendence in later Neoplatonism, Hermes, 1964, 92, p. 213-225.

(5) Combles. Damascius lecteur du Parmenide. Archives de philosophie, 1975, 38, p. 40. Цитата примечательно напоминает ситуацию «Пьяного корабля» Рембо.

(6) Le Neoplatonisme, Paris, 1971, p. 342.

(7) На историческую ретроспекцию поздних неоплатоников безусловно повлияло «пришествие христианского варварства» (Присциан).

(8) Цит. по E. Gassier, Berkeley system, London, 1914, p. 93.

(9) Хризопею (мутацию простых металлов в золото) эпохи барокко следует считать просто авантюрной химией, которой занимались , в основном, черномагически ориентированные кузнецы и аптекари-каббалисты. Адепты производили подобные опыты с целью аппробации качества тинктуры.

(10) Этой сложной теме посвящены замечательные страницы Роджера Бэкона и Майстера Экхарта. Мною интересных данных собраны в книге: Duval, P., Recherches sur les structures de la pensee alchimique et leur correspondances dans Le Conte de Graal, Lills, 1976.

(11) Мы рассуждаем, само собой разумеется, только о лирической поэзии, на развитие которой сильно повлияли, согласно Марселю Рэмону и Гуго Фридриху, неоплатонизм и орфический гнозис.

(12) Keyserling, H., Kritik des Denkens, Hamburg, 1948, s. 122.

(13) «Механическая сущность не имеет центра и живет заимствованной энергией». Leibniz G.E., Gesammelte Werke, Munchen, 1929, t. 3, s. 204.

(14) Это касается не только искусства, но и любого ремесла. См. Николай Кузанский. Книга простеца (Liber de idiota). Кстати говоря, Рене Генон проделал примерно такую же работу по «выявлению» традиции из общей массы оккультизма.

(15) Эти выводы в духе языческого неоплатонизма сделаны без учета христианской эсхатологии и теории циклов.

(16) «Когда истощается энергия завоевателя, он становится жертвой завоеванного», Junger, Ernst, Sanduhr-Buch, Munchen, 1932.

(17) Сублимация - освобождение, а не превращение. Нельзя трансформировать нечто низкое в нечто высоте. Отсюда крайняя сомнительность идеи Фрейда о «сексуальной энергии, трансформированной в художественное вдохновение».

(18) В языческом неоплатонизме выражение «демонические энергии» этически не акцентировано. Имеются в виду энергии титанов, пифонов и партеногенетических порождений великой матери, враждебных божественно-героической организации бытия. Избавление, отделение от тела: речь идет не об аскезе или умерщвлении плоти, но о «философском освобождении души от тела» (Ямвлих).

(19) Цифровая и буквенная комбинаторика - сатанинская пародия на пифагорейскую науку о числах и фонетическую теургию Ямвлиха. Синкретизм неоплатонизма и каббалы у Фичино и Мирандоло - одно из свидетельств угасания, традиции в ренессанс. (Blau, J.D., The Christian interpretation of the Cabala in the Renaissance, London, 1944).

(20) Посмотри на вражду грубых камней очага и грубого огня. Знай, сын мой: секрет - в истинной любви Гестии и Гефеста. В единении очага и огня рождается наше золото (nostrum aurum). Артефий (De la grande Pierre des Anciens Sages, Strasbourg, 1645, p. 414).

(21) Здесь интересно отметить обычное для труверов сближение amere и amour. По Якову Беме, «горечь» - качество, присущее «белому сульфуру».

Камень

Где они используются, камни? В народном хозяйстве, помимо древесины, жасмина, сиамских котов, находят применение камни. Но разве кирпич или бетон — камни?

Зажав изумрудный амулет в горячей ладони, девушка на ипподроме беспокойно следит бешенство карьера.

Очень трудно найти сферу человеческой деятельности, где не встречалась бы субстанция камня той или иной формы, того или иного качества: камень, вброшенный в голодную пасть Кроноса, камень преткновения, камень философов. Думать над проблемой сей можно долго и слишком даже плодотворно. Поэтому не будем проявлять интереса к многочисленным разновидностям камней, например, к драгоценным камням: вам это кольцо, ох, как к лицу, но разве этот камень ваш по знаку зо... Стоп. От слова «зодиак» уже тошнит.

Много, очень много каменно-метафизических проблем: время собирать камни... на камне сем...камень, что отбросили строители, стал краеугольным...

Словом, если классифицировать ювелирно-зодиакальные изделия, объекты религиозного культа, монолиты, аэролиты, скульптуры, талисманы, мы никогда не приблизимся к нашей теме.

Какова же, собственно, тема?

Камень вне разнообразных употреблений, толкований, сравнений, метафор, камень «сам по себе», так сказать, в его «феноменологической редукции». Камень в зеркале взгляда, не задетый ни «объективным изучением», ни предполагаемой пользой, ни ассоциативной символикой. Жизненный «динамис» камня. Виктор Гюго «Девяносто третий год»: *«Ведь вы, мужики, во что только не верите: у вас камни вращаются, камни поют, камни ночью на водопой к ручью ходят»*. Это веселые камни. Фольклор, в основном, повествует о мрачной, потаенной, злопамятной жизни валунов, горных кряжей, утесов, монолитов — они угрожают весной гримасой нависающей скалы, взнесенной в небо дланью гранитного гиганта, «зубами дракона» и т.д. Дьявол любит обращать в камни должников своих, бог Вотан любит обращать базальтовые нагромождения в хаотическое воинство берсеркеров. Антрополог Беньямин ван Леув рассказывает о мифах дельты Амазонки: морской змей выбрасывает героя на огромный причудливый камень, герой отдыхает, но зеленоватая бугорчатая поверхность начинает вздрагивать, пульсировать — гигантская жаба. Далее взаимопревращение утесов, плавучих деревьев, рептилий...

В нашей дуальной системе оценок камень мерцает зловещим колоритом, несмотря на положительный аспект основательности и весомости. Читаем у Н. С. Гумилева:

Взгляни, как злобно смотрит камень,
В нем щели странно глубоки...

Далее любопытные строки:

Но берегись его обидеть,
Случайно как-нибудь толкнуть...

Неожиданные контакты с камнем, как правило, небезопасны. Но дело не так просто. Михаил Скотт, схолиаст

XIII века, по слухам, колдун, включил в свои «Оракулы» главу о «Камнях на дороге». Эта книга — «напоминание рассудительным людям» — толкует бесчисленные знаки и знамения. Не будем распространяться на эту тему, перейдем к заключению: форма, цвет, разновидность, размер, географическая ориентация встреченных на дороге камней — суть, открытая страница, в которой сведущий прочтет не только «свою судьбу до полуночи», но и «судьбу данной местности». Если прохожий ненароком споткнется о камень, надлежит не чертыхаться, но спросить камень о причинах задержки. Камням ведомы все языки, потому не стоит припоминать какие-либо особые слова. Многие славные мужи и торопливые женщины, — добавляет Михаил Скотт, — спаслись бы от грозной опасности, будь они вежливей с камнями на дороге.

Все это для наших современников, в лучшем случае, «первобытный анимизм». Но какое значение имеют отзывы даже прославленных специалистов о необозримой, вечной вселенной камня. Деление природы на «органическую» и «неорганическую», «живую» и «мертвую», на минеральное, растительное, животное царство случилось всего два, три века назад, причем только в Европе, и только благодаря особому устройству позитивистских мозгов. Что природе, необъятной все всякой необъятности, энергичной вне всякой энергии, бормотанье классификаторов насчет «экологических катастроф», «покорений космосов»?

Alles ist Ufer. Ewig ruft das Meer.

Все — только берег. Вечно зовет море.

(Готфрид Бенн)

* * *

«Нет создания совершенней минерала», — писал Альберт Великий в «Liber mineralibis», и это мнение разделяют каббалисты. Много чего понятного и непонятного имеется в виду.

Алхимия считает минералы результатом успешной диффузии духа в материю: их гармоническая структура более или менее свободна от влияния стихий. И главное: минералы способны к развитию и трансформации без постороннего воздействия — это происходит с челове-

ческой точки зрения до крайности медленно, потому алхимик играет роль культиватора, катализатора «вегетации камня».

Здесь не допускается сомнений в активной жизненности минералов — согласно Парацельсу, «нет ничего мертвого в природе». Минералам свойственны разнополость, симпатии, антипатии и даже, по мнению Авиценны, «идеальная любовь к созвездиям». В минералах и металлах очень ярко выражено формообразующее световое начало или substantialis forma latens in materia, способное преобразовать вещество камня.

Если камень — живой организм, его отношение с философом, артистом, ремесленником следует понимать совсем иначе. Вернее, пытаться понять, ибо практически непреодолимая пропасть отделяет нас от живого магического мира, где нет смерти в смысле тотальной деструкции, где смерть — не более чем метаморфотическая перемена сознания.

Поэтому.

Скульптор не «творит», не «воплощает» свой либо чужой замысел, свою либо чужую воображаемую фигуру. Он наблюдает, угадывает, оценивает срок «беременности материнского камня» (Лукреций), затем «помогает» родиться ...существу, будь-то бог, человек, зверь и т.д. Это соответствует методу Сократа, названному «маэвтикой», т.е. «помощью при трудных родах».

И.Я. Бахофен в «Материнском праве» посвятил главу мужской ориентации камня. Речь идет о «фаллической эрекции» горных хребтов, крепостных стен, храмов, эрекции, вызванной внезапным пробуждением (стены Фив) или притяжением «женской субстанции» (храм Приапа в Сицилии).

И потому понятен энтузиазм позднего римского поэта Валерия Флакка:

И перед камнем, что ржавой пророс бородой,
Ты склоняешься как перед богом...

Вне минералогии, геологии, каменщиков, вольных каменщиков. Межевой камень, Геркулесовы Столбы, бог Термин на границах познания — камень, одним словом.

2002

Некоторые особенности лабиринта

У Каспара фон Лоэнштена, немецкого поэта семнадцатого века, есть стихотворение под названием «Надпись над входом в лабиринт»:

Глаза бесполезны в бесчисленных поворотах,
Зрячему и слепцу одинаково выхода нет.
Живой уже умер. Мертвый ждет воскресенья.
Только мудрец доволен, попав в лабиринт.

Своеобразные субъекты эти мудрецы, коли им по душе абсолютно гиблая ситуация. Что жизнь человеческая суть лабиринт, это течет в нашей крови и понятно без рассуждений. В данном контексте следует добавить:

понятия прошлого и будущего, а следовательно, злой и счастливой судьбы бесмысленны в лабиринте, где царит тягучий настоящий момент.

Нонсенс воплощения идеи окружности в «Символике креста» Рене Генона: сколь бы усердно не вонзалось в бумагу острие, сколь бы хорошо не держался угол циркуля, конец не совпадет с началом, исток не вольется в собственное устье. Замкнутый круг невозможен, ибо идеальной плоскости не бывает. Сколь бы не стремились друг к другу концы кривой линии, сомкнуться им не удастся — всегда останется минимальный зазор. С прямой дело обстоит не лучше — ее равным образом исказит отсутствие идеальной плоскости.

Трехмерность — понятие условное и прагматическое.

Мы ловим неуловимое пространство воображаемой геометрической сетью, «исправляя и улучшая» наше восприятие. Ученые не доверяют ни глазам, ни ушам своим, но весьма довольны микроскопом и телескопом, поскольку инструменты эти растворяют индивидуальные зрительные особенности в стерильной и «объективной» одинаковости. Так же точно окружности и прямые линии ректифицируют неточности прихотливого разнообразия мира, отраженного в синих, черных или зеленых глазах. Современное познание инструментально и социально.

Коллективный научный разум пустяками не интересуется и пренебрегает минимальными зазорами — ведь иначе никакой теории не построишь. Любимое выражение: «для удобства и наглядности будем считать» минимальное движение за покой, минимально неправильное движение за равномерное прямолинейное, минимальное неравенство за равенство, максимальную удаленность за бесконечность и т.д. Если начертить с десяток окружностей разного размера и колорита, назвать одну «кольцом Венеры», другую «оком небытия», третью «восторженной песней лазури» и сказать: ничего общего меж ними нет, нам возразят: все это — окружности. Здесь безусловное отличие мышления абстрактного от примитивно-конкретного.

Этнограф Сент-Ив Венсан, который прожил несколько лет в одном из племен ирокезов, вспоминает как трудно было объяснить индейцам цифры и цифровой ряд. *«Старый Вассавити очень недоверчиво следил как*

я в сотый раз считаю хемлок, сосну и клен и вытягиваю три пальца — три, понимаешь ли, три дерева. Что такое дерево, недоумевал он. Дерево это дерево, кричал я, хлопая по сосне. Погоди, остановил меня индеец, ты хлопаешь не по своему «дереву», а по сосне. Что тут поделаешь? Ты согласен, старик, что клен это не медведь. Вассавити объявил, что в жизни не слышал подобной чепухи. Потом рассказал, как на его глазах убегающий от охотников медведь обратился в клен, а потом, когда опасность миновала, стряхнул с себя кору, листья и неторопливо удалился. Я растерянно молчал. Старый Вассавити покачал головой и принялся меня поучать. Число три, провозгласил он, нельзя показывать на пальцах — это знак черного колдовства. Вот смотри, заключил индейский мудрец, сосна, хемлок и клен часто враждуют меж собой, какие уж тут числа. Но вот белка на сосне, а также гнездо ворона. Сосна, ворон и белка очень дружат, можно сказать, одна семья. Вот тебе число три. А твои деревья... Вассавити махнул рукой и побрел в лес»[1]. Рациональное познание, основанное на сведении множества индивидуальных вещей к приблизительному тождеству, основанное на идеях равенства, либо-либо, причинно- следственной связи, никакого отношения к жизни личности не имеет. Точность вращения земли и движения планет порождена коллективным опытом определенного социума. Почему-то мысль о подобной точности возникла после изобретения механических часов, после унификации глубоко индивидуальных переживаний времени и пространства.

Уильям Блэйк так выразил принцип индивидуальности:

И каждое пространство, которое человек видит,
Пребывая на своей крыше или в саду, или
На холме двадцати локтей высоты, это
Пространство — его вселенная
— И если человек переселяется, его
Небо переселяется вместе с ним.

Интеллектуальное индивидуальное усилие должно быть направлено на познание собственного неба в частности, собственного микрокосма вообще. У индивида, пока он не растворился в социуме, нет никакой судьбы, никакого прошлого или будущего, поскольку хроноло-

гия, причинно-следственная связь событий и предсказуемость действий основаны на равномерном движении, прямых линиях, циклах и прочих социальных условиях и договоренностях.

Как выглядят естественные пути одинокого человека, лишенного ориентиров, то есть, мнимо неподвижных точек и четких направлений?

Крайне своеобразный американский писатель Чарльз Форт много лет собирал информацию о явлениях необычных и любил оригинально трактовать обыденные ситуации. Фрагмент его книги «Ло» озаглавлен так: «Рисунки маршрутов странников, которые заблудились в девственных лесах и пустынях». Все без исключения рисунки напоминают лабиринты. *«Очевидно,* — полагает Чарльз Форт, — *странники, блуждающие без компаса в ночных пустынях и лесах, повинуются первичному иррациональному побуждению, ибо пространство суть лабиринт»*.

Неожиданное и случайное здесь не исключение из предсказуемой закономерности, но естественная реальность одинокого человека. Режим подобной реальности — катастрофа для персоны общественной. Любопытен рассказ Г. Ф. Лавкрафта: космонавт, то есть представитель научного коллектива, попадает на Венере в прозрачный лабиринт. Обычный пейзаж вот он, совсем рядом, но тело постоянно натыкается на неумолимые, совершенно прозрачные стены. Паника, безумие, гибель.

Радикальная нестабильность бытия, беспокойство, неуверенность, экзистенциальный страх сопутствуют поискам «выхода»: жизнь — лабиринт, необходимо найти «смысл и центр сущего», иначе... Так полагают «люди земли» и напрасно полагают: лабиринт — это путь от земли в Океанос, космическую стихию воды, где представления о земной ориентации бесполезны. Космогонии лабиринта, известные с глубокой древности, всегда связаны со стихией воды. Уильям Блэйк:

Мировая раковина — вогнутая земля
Лабиринтальной запутанности, земля,
Испещренная извилистыми ущельями
Двадцати семи уровней плотности.

Поэт, разумеется, не придумал «мировую раковину», мы встречаем нечто подобное в книге Атанасиуса Кирхера (XVII век) «Mundus subterraneus» («Подземные миры»): *«Земля — раковина в Океаносе. Эту концепцию стоика Посидония разделяли Дунс Скотт, Иоанн из Солсбери и другие благочестивые философы. В беспрерывной борьбе и переплетениях стихий квинтэссенция образует золото-перламутровые средоточия, называемые звездами»*.

Кирхер — креационист и, несмотря на своеобразие его космогонии, ищет во всем промысел Творца. В странной и сложной мифологии Блэйка тоже присутствуют силовые линии активных теофаний. Зачем мы об этом упоминаем? А вот зачем. Стремление к логической упорядоченности подает надежду на ту или иную степень познаваемости космического лабиринта.

Утверждение итифаллоса, греза об автономии светового мужского начала в беспредельной женской ночи. Стрела, копье, угломер, циркуль — прямая линия в измерении, завоевании волнистых изгибов. Многократно умноженные стороны вписанного в круг правильного многоугольника почти совпадут с этим кругом. Однако всегда останется минимальный зазор, принципиальная недоступность цели.

Пасифая, Ариадна, Тезей — главные ли участники мистерии лабиринта? Нет. Здесь разыгрывается драма богов — Посейдона, Гелиоса, Диониса. Пасифая, мать Ариадны и дочь Гелиоса, отдалась бешеной страсти к быку Посейдона (возможно, это был сам Посейдон) и родила человеческого монстра с головой быка, Минотавра. До или после этого события, ибо мифу чужда хроническая последовательность, Ариадна танцевала на празднестве Диониса; согласно фигурам ее танца Дедал построил лабиринт. Этот лабиринт — храм Минотавра, медиатора меж стихиями воды и земли. Равно как титаны растерзали Диониса в метаморфозе быка, Тезей-цивилизатор убил Минотавра, обманув Ариадну мнимой своей любовью.

Не надо забывать: греческие мифы дошли до нас в жестокой христианской редакции; с большим трудом, в сравнении множества фрагментов и цитат достигается смутное представление о языческой культуре. Сложнейший миф о Минотавре упростился до поучительной сказки про монстра-людоеда и героя-гуманиста. Почему же,

интересно знать, в гомеровых гимнах Минотавр назван «повелителем мистерий, дарителем нового тела»? Почему Иоганнес Рейхлин (XV-XVI в.), один из начинателей греческой филологии, интерпретируя миф о критском лабиринте, переводит слово «танатос» (смерть в принятом значении) как «исчезновение из поля зрения», «атанатос» (бессмертие) как «появление в поле зрения»?

Активная патриархальная цивилизация игнорирует все это, прямолинейная фаллическая агрессия, требующая результата здесь и теперь, убивает магические горизонты бытия. Отсюда ненависть к Дионису во всех его ипостасях цивилизаторов законодателей — Ликурга, Персея, Пентея, отсюда предельное унижение его священных животных — быка и козла. Игры по укрощению быка, ритуальное убийство быка — впоследствии коррида — все это наследие крито-микенской андрократии. Во времена христианства подобная ненависть достигла апогея — имеется в виду изображение дьявола в виде козла. Дело понятное — культы Диониса, Минотавра, Ариадны угрожают военно-трудовой организации порядка вещей. Патриархальным доминаторам очень по сердцу мысли о небесно санкционированной иерархии бытия, об антропоцентризме, о страдании, искуплении, дисциплине, о том, что лавры, цветы и наслаждения это не общее достояние, но награда избранным и все прочее в таком духе.

Мистерии Диониса, посвящение в культ лабиринта предлагают роскошь изобилия, абсолютное наплевательство на земную жизнь и ее бескрылые катастрофы, ослепительное безумие карнавала, опьянение, ведущее к божественному in excelsis.

Ариадна. Счастье быть покинутой Тезеем, счастье стать женой Диониса, корона Океаноса, добытая божественным возлюбленным, корона в ее дивных волосах и одновременно созвездие Короны, Corona Borealis. Лабиринт Минотавра — путь в стихию «формообразующей воды», далее изгибы, повороты энергического пространства к созвездию...

2000

Примечания

(1) Сент-Ив Венсан. Воззрения ирокезов на природу. 1972.

Часть IV
Литература беспокойного присутствия